



ЖАУМЕ КАБРЕ

Я исповедуюсь

С этим шедевром Кабре достигает высот литературы.
Брюно Корти. *Le Figaro littéraire*

Жауме Кабре

Я исповедуюсь

Серия «Большой роман»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=10215596

Я исповедуюсь : роман / Жауме Кабре ; пер. с каталан.: Иностранка, Азбука-Аттикус; Москва; 2015

Аннотация

Впервые на русском языке роман выдающегося каталонского писателя Жауме Кабре «Я исповедуюсь». Книга переведена на двенадцать языков, а ее суммарный тираж приближается к полумиллиону экземпляров.

Герой романа Адриа Ардевол, музыкант, знаток искусства, полиглот, пересматривает свою жизнь, прежде чем незримая метла одно за другим сметет из его памяти все события. Он вспоминает детство и любовную заботу няни Лолы, холодную и прагматичную мать, эрудита-отца с его загадочной судьбой. Наиболее ценным сокровищем принадлежавшего отцу антикварного магазина была старинная скрипка Сториони, на которой лежала тень давнего преступления. Однако оказывается, что история жизни Адриа несводима к нескольким десятилетиям, все началось много веков назад, в каталонском монастыре Сан-Пере дел Бургал, а звуки фантастически совершенной скрипки, созданной кремонским мастером,

магически преображают людские судьбы. В итоге мир героя романа наводняют мрачные тайны и мистические загадки, на решение которых потребуются годы.

Содержание

I. A capite[1]	6
II. De pueritia[45]	46
III. Et in Arcadia ego[139]	272
Конец ознакомительного фрагмента.	278

Жауме Кабре

Я исповедуюсь

Jaume Cabre

JO CONFESSO

Copyright © Jaume Cabre, 2011

All rights reserved

First published in Catalan by Raval Edicions, SLU, Proa, 2011

Published by arrangement with Cristina Mora Literary & Film Agency (Barcelona, Spain)

The translation of this work was supported by a grant from the Institut Ramon Llull.

© Е. Гущина, перевод (главы 1–19), 2015

© А. Уржумцева, перевод (главы 20–38), 2015

© М. Абрамова, перевод (главы 39–59), 2015

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015

Издательство ИНОСТРАНКА®

* * *

Маргарите

I. A capite¹

*Я станет ничем.
Карлес Кампс Мундо*

1

Только вчерашней ночью, шагая по влажным улицам Валькарки², я понял, что родиться в этой семье было непросчитительной ошибкой. Внезапно мне открылось, что я всегда был одинок, что никогда не мог рассчитывать ни на родителей, ни на Бога, чтобы переложить на их плечи ответственность за свои проблемы. С возрастом, размышляя о жизни или принимая решения, я привык опираться, словно на костыли, на смутные представления, почерпнутые из разных книг. Однако вчера – во вторник, ночью, – переживая дождь по дороге от Далмау, я пришел к выводу, что эта ноша только моя. И все успехи, равно как и ошибки, мои, и только мои. И отвечаю за них – я. Мне потребовалось шестьдесят лет, чтобы осознать это. Надеюсь, ты поймешь меня.

¹ С головы (лат.). Часть выражения *a capite usque ad calcem* – «с головы до пят», иногда употребляемого в значении «от начала до конца». – *Здесь и далее примеч. перев.*

² Валькарка – район Барселоны.

Как поймешь и то, насколько беспомощным и одиноким я чувствовал себя и как тосковал по тебе. Несмотря на расстояние, разделяющее нас, ты всегда служишь мне примером. Хотя меня и охватила паника, я не ищу спасательный круг. Несмотря ни на что, я держусь на плаву без веры, без священников, без готовых решений, которые облегчили бы мне путь неведомо куда. Я чувствую себя старым, и Дама с косой зовет меня за собой. Вижу, как она переставляет черного слона и учтивым жестом предлагает продолжить партию. Я знаю, что у меня осталось мало пешек. Тем не менее еще не конец, и я размышляю, какой фигурой сыграть. Я один на один с листом бумаги, и это мой последний шанс.

Не слишком мне доверяй. В жанре, столь склонном ко лжи, как воспоминания, написанные для единственного читателя, я знаю, что не смогу не приврать, но буду стараться не очень присочинять. Все было именно так, и даже хуже. Я понимаю, что должен был рассказать тебе об этом давно, но это трудно, и даже теперь не знаю, с чего начать.

Все началось, по сути, больше пятисот лет тому назад, когда этот измученный человек попросился в монастырь Сан-Пере дел Бургал. Если бы он этого не сделал или если бы отец настоятель дом³ Жузеп де Сан-Бартомеу отказался его принять, я бы не рассказывал тебе всего того, что хочу рассказать. Но нет, я не в силах перенестись так далеко. Начну

³ Дом – обращение к духовному лицу, принятое в Средние века в монастырях ордена бенедиктинцев.

гораздо ближе.

– Папа... Видишь ли, сын... папа...

Нет-нет. Не хочу и с этого начинать, нет. Лучше начну с кабинета, в котором я пишу перед твоим – таким живым – автопортретом. Кабинет – это мой мир, моя жизнь, моя вселенная; в нем собрано все... кроме любви. Когда я бегал по дому в коротких штанишках, с цыпками на руках от холода осенью и зимой, входить туда мне было запрещено, кроме особых моментов. Но я делал это тайком. Мне были знакомы все углы; в течение нескольких лет у меня там, за диваном, было тайное укрытие, которое приходилось тщательно маскировать после каждого незаконного вторжения, чтобы Лолла Маленькая не нашла моих следов, подметая пол. Однако, попадая в кабинет на законных основаниях, я всегда должен был вести себя как в гостях: стоять спрятав руки за спину, пока отец показывает мне последний манускрипт, который нашел в лавке старьевщика в Берлине. Посмотри-ка! И следи за руками. Я не хочу тебя ругать. Адриа, заинтригованный, склонился над страницей:

– Это ведь по-немецки? – Он невольно протянул руку.

– Эй, следи за руками! – Отец ударил его по пальцам. – Что ты говоришь?

– Ведь это по-немецки, да? – Он трет ушибленную руку.

– Да.

– Я хочу выучить немецкий.

Феликс Ардевол с гордостью смотрит на сына и говорит:

весьма скоро ты сможешь начать его учить, мальчик мой.

На самом деле это не манускрипт, конечно, а просто пачка бурых листов: на первой странице старинным шрифтом напечатано *Der begrabene Leuchter. Eine Legende*⁴.

– Кто такой Стефан Цвейг?

Отец, с лупой в руках, рассеянно изучает какую-то пометку на полях возле первого абзаца и, вместо того чтобы рассказать мне о писателе, бормочет: ну... один тип, покончивший с собой в Бразилии лет десять или двенадцать назад. Долгое время единственное, что я знал про Стефана Цвейга: этот субъект покончил с собой десять или двенадцать лет тому назад... потом – тринадцать, четырнадцать и пятнадцать – до тех пор, пока сам не прочитал книгу и не узнал о ее авторе.

Тем временем посещение кабинета закончено, и Адриана вышел, сопровождаемый просьбой не шуметь: дома не разрешалось ни бегать, ни кричать, ни цокать языком, поскольку отец если не изучал манускрипты с лупой в руках, то просматривал каталожные карточки с описью средневековых географических карт или размышлял, как найти новые места, где можно достать предметы, заставлявшие его трепетать. Единственный шум, который мне позволялось издавать – в своей комнате, – извлекать звуки из скрипки, на которой учился играть. Но и тогда нельзя было проводить весь день, снова и снова повторяя арпеджио номер XXIII

⁴ «Погребенный светильник. Легенда» (нем.). Новелла Стефана Цвейга.

из *O livro dos exercicios da velocidade*⁵, из-за которого я так возненавидел Трульолс, однако продолжал любить скрипку. Хотя нет, Трульолс я не ненавидел. Но она была невыносимой занудой, а уж когда речь шла об упражнении XXIII...

– Может быть, что-то другое поиграть? Для разнообразия?

– Здесь, – она тыкала в партитуру колодкой смычка, – все технически сложные моменты собраны в одном месте. Это абсолютно гениальное упражнение!

– Но я...

– В пятницу я хочу услышать безупречное исполнение упражнения двадцать три. Особое внимание – на такт двадцать седьмой.

Иногда Трульолс упряма как ослица. Но в целом она вполне терпима. А иногда даже больше чем терпима.

Бернат того же мнения. Когда я приступил к *O livro dos exercicios da velocidade*, то еще не был знаком с Бернатом. Однако в том, что касается Трульолс, мы сходимся. Она, должно быть, замечательный педагог, хотя и не вошла в историю, насколько мне известно. Кажется, нужно объяснить, что к чему, а то я все запутываю. Да, будут вещи, которые ты наверняка знаешь, особенно когда речь пойдет о тебе. Но есть и такие уголки души, которые, думаю, тебе неизвестны, потому что невозможно ведь познать человека до конца.

Магазин хотя и поражал воображение, но все-таки нра-

⁵ «Сборник упражнений на скорость» (норм.).

вился мне меньше, чем кабинет. Возможно, потому, что когда я приходил туда – очень редко, – то не мог отделаться от чувства, что за мной следят. У магазина было одно явное преимущество: там я мог смотреть на красавицу Сесилию, в которую был всей душой влюблен. У нее были сияющие золотые волосы, всегда тщательно уложенные, и полные ярко-алые губы. Она вечно или хлопотала над своими каталогами и прейскурантами, или подписывала ценники. Немногих клиентов, заходивших в магазин, она приветствовала улыбкой, открывавшей взгляду прекрасные зубы.

– У вас есть музыкальные инструменты?

Мужчина даже не потрудился снять шляпу. Он стоял перед Сесилией, оглядывая все вокруг: лампы, канделябры, стулья вишневого дерева с тончайшей инкрустацией, козетки начала девятнадцатого века, вазы всех размеров и эпох... Меня он не заметил.

– Не слишком много. Но если вам будет угодно пройти за мной...

«Не слишком много» – это пара скрипок и одна виола с не очень хорошим звуком, но зато со струнами из чудом сохранившихся натуральных жил. А еще – помятая труба, два великолепных флюгельгорна и горн, который в отчаянии кричал людям из соседних долин, что лес в Паневеджио горит и Пардак просит помощи у Сирора, Сан-Мартино и особенно у Велшнофена, который пострадает чуть позже; у Моэны и Сораги, до которых, возможно, уже доле-

тел тревожный запах этой беды, разразившейся в год 1690-й от Рождества Господа нашего, когда Земля была круглой почти для всех, и если неведомые болезни, безбожные дикари, чудища морские и земные, град, бури, бурные ливни не мешали кораблям, то они, отправляясь на запад, возвращались с востока, привозя обратно моряков, чьи тела были истощены, взгляд потерян, а ночи полны кошмаров. В лето от Рождества Господа нашего 1690-е в Пардаке, Моэне, Сироре, Сан-Мартино все жители, кроме прикованных к постели, бежали, полуослепшие от дыма, посмотреть на бедствие, разрушившее их жизни – чью-то в большей степени, чью-то в меньшей. Страшный пожар, который они наблюдали, не в силах что-либо предпринять, пожирал гектары прекрасного леса. Когда благословенные дожди погасили адский огонь, Иаким, четвертый – самый бойкий – сын Муреды из Пардака, тщательно обследовал весь лес в поисках мест, нетронутых пожаром, и деревьев, годных для дела. На середине спуска к оврагу Ос он присел справить нужду возле небольшой обугленной ели. Но то, что он увидел, заставило его забыть обо всем: несколько обернутых тряпками факелов из сосновых ветвей, источавших запах камфары или еще чего-то незнакомого. Очень осторожно сын Муреды из Пардака развернул тряпки, которые еще тлели, храня огонь адского пожара, уничтожившего его будущее. От увиденного его замутило: грязно-зеленая ткань, обшитая по краю желтым, не менее грязным шнуром, была не чем

иным, как куском куртки Булхани Брочи, толстяка из Моэны. Найдя еще несколько обрывков той же ткани, правда сильно обгоревших, Иаким понял, что это чудовище – Булхани – выполнил свою угрозу уничтожить семейство Муреда и всю деревню Пардак вместе с ним.

– Булхани!

– Я с псами не разговариваю!

– Булхани!

Тон, которым было произнесено имя, заставил его обернуться с недовольной гримасой. Булхани из Моэны обладал внушительным брюхом, на котором – поживи он подольше да поешь получше – стало бы очень удобно складывать руки.

– Какого дьявола тебе нужно?

– Где твоя куртка?

– Тебе-то что до моей куртки?

– Что ж ты ее не надел? Ну-ка, покажи мне ее!

– Поди прочь! Ты думаешь, раз сейчас для Моэны плохие времена, мы должны плясать под твою дуду? А? – Его глаза потемнели от злобы. – И не подумаю тебе ничего показывать! Катись к чертовой матери!

Иаким, четвертый сын Муреды, ослепленный холодной яростью, вытащил короткий нож, который всегда носил за поясом, и воткнул его в брюхо Булхани Брочи, толстяка из Моэны, словно в кленовый ствол, с которого нужно снять кору. Булхани открыл рот и выпучил глаза – скорее от удивления, чем от боли: как это какое-то ничтожество из Пар-

дака посмело тронуть его. Когда Иаким Муредда выдернул нож, раздался отвратительный хлюпающий звук. Лезвие было красно от крови. Булхани осел, будто из него выпустили воздух.

Иаким огляделся: на улице никого. Стараясь сохранять спокойный вид, он почти бегом бросился в сторону Пардака. Вот за спиной остался последний дом Моэны. Муредда заметил краем глаза, что горбунья с мельницы, держа охалку мокрого белья, смотрит на него, открыв рот... Может, она все видела. Вместо того чтобы прирезать и ее, он только прибавил шагу. Для него – лучшего знатока поющего древа, всего-то двадцати лет от роду, – жизнь только что разлетелась в куски.

Дома все поняли мгновенно и тут же послали в Сан-Мартино и Сирор людей, чтобы те в красках рассказали, как Булхани, понукаемый ненавистью и злобой, поджег лес; да только обитателям Моэны до правосудия не было дела, они желали поймать – немедленно – злодея Иакима Муредду.

– Сынок, – сказал старый Муредда, глядя еще более печально, чем обычно, – ты должен бежать отсюда.

И протянул ему мешочек, в котором лежала половина всего золота, скопленного семьей за тридцать лет работы в Паневеджио. Никто из сыновей не возразил, видя это. Глава семьи торжественно продолжил: хоть ты и лучший знаток поющей древесины и настоящий мастер, Иаким, сын сердца моего, четвертый отпрыск этого несчастного рода, твоя

жизнь стоит много больше драгоценного дерева, которое мы никогда уже не сможем продавать. Только покинув эти места, ты избежишь разорения, каковое постигнет нас теперь, когда Булхани из Моэны оставил нас без леса.

– Отец, я...

– Давай беги, не мешкай! Беги через Велшнофен, потому что я уверен: в Сироре тебя будут искать. Мы пустим слух, что ты прячешься в Сироре или Тонадике. Оставаться в долине очень опасно. Ты должен бежать далеко отсюда, как можно дальше от Пардака. Беги, сынок, и да хранит тебя Господь!

– Но, отец, я не хочу уезжать. Я хочу работать в лесу.

– Леса больше нет. Что ты будешь здесь делать, дитя мое?

– Не знаю... Но если я покину долину, то умру!

– А если ты не покинешь долину сегодня же ночью, я сам тебя убью! Ты понял меня?

– Отец...

– Никому из Моэны я не позволю поднять руку на моего сына!

Иаким Муред из Пардака попрощался с отцом и поцеловал одного за другим всех братьев и сестер: Агно, Йенна, Макса с их женами; Гермеса, Йозефа, Теодора и Микура; Ильзу, Эрику с их мужьями; Катарину, Матильду, Гретен и Беттину. Затем в полной тишине сказал: «Прощайте!» – и уже в дверях услышал голос младшей, Беттины: «Иаким!» Он обернулся и увидел, что девочка протягивает ему

медальон с Пресвятой Девой Марией Пардакской – образок, который мать дала ей перед смертью. Иаким молча обвел взглядом братьев, посмотрел на отца. Тот согласно кивнул. Тогда беглец подошел к младшей сестре, взял медальон и сказал: Беттина, сестренка, я буду носить его как драгоценность до самой смерти. Он не знал тогда, что говорит истинную правду. Беттина прикоснулась к его щекам ладошками, но не плакала.

Иаким вышел из дому, ничего не видя перед собой, пробормотал короткую молитву над могилой матери и растворился в снежной ночи, чтобы переменить жизнь, историю и воспоминания.

– У вас только это есть?

– У нас магазин антиквариата, – ответила Сесилия с тем ледяным выражением лица, которое вгоняло мужчин в краску. И прибавила, не скрывая иронии: – Отчего бы вам не наведаться в лавку музыкальных инструментов?

Мне нравится, когда Сесилия сердится. От этого она становится еще красивее. Даже красивее, чем мама. Чем мама, какой она была тогда.

С моего места виден кабинет сеньора Беренгера. Я услышал, как Сесилия провожает разочарованного клиента, так и не снявшего шляпу. Как только звякнул колокольчик и раздалось «Всего хорошего!» Сесилии, сеньор Беренгер поднял голову и подмигнул мне:

– Адриа!

– А?

– Когда за тобой придут? – говорит он громче.

Я пожимаю плечами. Я никогда толком не знал, где и когда мне следует быть. Родители не хотели, чтобы я оставался дома один, и отводили в магазин, если оба уходили по делам. Меня это устраивало: мне нравилось проводить время, рассматривая самые невероятные предметы, прожившие жизнь, а теперь ждали случая начать новую в новом месте. Я воображал себе их в разных домах – это было увлекательное занятие.

Заканчивалось все всегда одинаково: за мной приходила Лола Маленькая. Она вечно торопилась, потому что ей нужно было готовить ужин, а потом еще мыть посуду. И я пожал плечами в ответ на вопрос сеньора Беренгера: когда за мной придут.

– Иди сюда, – сказал он, доставая лист белой бумаги. – Сядь за тот тюдоровский стол и порисуй немножко.

Мне никогда не нравилось рисовать, потому что я не умею, совсем не умею. Оттого меня всегда восхищало твое умение, оно кажется мне чудесным. Сеньор Беренгер говорил мне «порисуй немножко», поскольку ему жаль было видеть, как я бездельничаю, хотя это было не так. Я не бездельничал, я – размышлял. Но с сеньором Беренгером спорить бесполезно. Так что, сидя за тюдоровским столом, я соображал, как бы сделать так, чтобы он оставил меня в покое. Вынул Черного Орла из кармана и попробовал нарисо-

вать его. Бедняга Черный Орел, если б он увидел свой портрет... Кстати, Черный Орел все еще не нашел времени познакомиться с шерифом Карсоном, так как я только сегодня утром выменял его у Рамона Колля на губную гармошку Вейса. Если отец узнает об этом, он точно меня убьет.

Сеньор Беренгер не был похож на других; от его смеха мне становилось немного не по себе, а еще он обращался с Сесилией так, словно она никчемная служанка, и этого я ему так и не простил. Однако этот человек много знал о моем отце, который для меня был великой тайной.

2

«Санта-Мария» прибыла в Остию туманным утром второго четверга сентября. Плавание из Барселоны было значительно хуже, чем любое из путешествий Энея, предпринятых им в поисках своей судьбы и вечной славы. На борту «Санта-Марии» Нептун ему не благоволил: то и дело приходилось свешиваться над водой и кормить рыб, так что к концу путешествия цвет лица у него изменился с яркого и здорового, какой присущ крестьянам из долины Плана, на бледный, словно у загробного видения.

Монсеньор Жузеп Торрас-и-Бажес лично принял решение, что, учитывая превосходные качества этого семинариста – ум, старательность в учебе, благочестие, душевную чистоту и искреннюю веру, которыми, несмотря на юный еще

возраст, обладает этот семинарист, – сей прекрасный цветок нуждается в более пышном цветнике, чем скромный огород семинарии в Вике, где он завянет и понапрасну растратит те сокровенные дары, которыми наделил его Господь.

– Но я не хочу ехать в Рим, монсеньор! Я хочу посвятить себя учебе...

– Именно по этой причине я и отправляю тебя в Рим, возлюбленный сын мой. Я хорошо знаю нашу семинарию и то, что такой ум, как твой, лишь понапрасну тратит здесь время.

– Но монсеньор...

– Господь создал тебя для высоких свершений. Твои преподаватели просто требуют от меня такого решения, – сказал он, несколько театральным жестом поднимая вверх бумагу, которую держал в руке.

«Рожденный в усадьбе Жес близ города Тона, сын достойных Андреу и Розалии; уже в возрасте шести лет обнаружил стремление к церковному служению и начал посещать вводный курс латыни под руководством моссена⁶ Жасинта Гарригоса. Был столь успешен в учении, что, осваивая курс риторики, написал сочинение *Oratio Latina*⁷ и был допущен к его защите, чем – как знает монсеньор по собственному опыту, ибо мы имели честь учить Вас в этих стенах, – учителя поощряют лишь наиболее достойных учеников, добившихся значительных успехов в изучении сего наи-

⁶ Моссен – обращение к священнику, принятое у каталонцев.

⁷ «Латинское красноречие» (лат.).

прекраснейшего языка. Сие событие произошло, когда юноше исполнилось только одиннадцать лет, что свидетельствует о его исключительном развитии. Таким образом, все получили возможность услышать блестящую ораторскую речь Феликса Ардевола, произнесенную на языке Вергилия в присутствии весьма впечатленной публики, равно как его родителей и брата. Дабы почтенная аудитория могла как следует видеть и слышать маленького оратора, ему пришлось встать на специальную подставку. Так Феликс Ардевол-и-Гитерес начал свое триумфальное восхождение в области философии, теологии, математики, чтобы сравняться с такими просветленными учениками этой семинарии, как отцы Жауме Балмес-и-Урпиа, Антони Мария Кларет-и-Клара, Жасинт Вердагер-и-Сантало, Жауме Коллеу-и-Бансельс⁸, профессор Андреу Дуран и Вы сами, Ваше преосвященство, коего мы удостоились в качестве епископа нашего возлюбленного диоцеза. Мы желали бы выразить благодарность всем славным предшественникам. Ибо сказал Господь наш: „*Laudemus viros gloriosos et parentes nostros in generatione sua*“ (Eccli., 44, 1)⁹. Суммируя все вышеизложенное, мы от всей души просим Вас направить в Папский Григорианский университет студента Феликса Ардевола-и-Гитереса, дабы он там изу-

⁸ Известные каталонские философы и теологи XIX в., деятели т. н. Каталонского Возрождения.

⁹ «Теперь восхвалим славных мужей и отцов нашего рода» (лат.). Цит. по Вульгате.

чал теологию».

– У тебя нет выбора, сын мой!

Феликс Ардевол не осмелился признаться, что ненавидит корабли, поскольку родился и всегда жил на твердой земле, очень далеко от моря. И теперь, из-за того что он не смог быть откровенным с епископом, ему пришлось предпринять это невыносимое путешествие. На задворках порта Остии, заваленных какими-то полусгнившими ящиками и кишаси-ми крысами, он исторг из себя свою беспомощность и почти все воспоминания о прошлом. А за следующие несколько минут – пока пытался разогнуться и восстановить дыхание, пока отирал рот платком – он решительно облекся в су-тану странствий и обратил взор к открывавшимся перед ним блестящим перспективам. Подобно Энею, когда тот прибыл в Рим.

– Это лучшая комната в общежитии.

Феликс Ардевол остановился и обернулся, удивленный. В дверном проеме, с приветливой улыбкой, стоял невысокий полный студент, истекающий потом в шерстяном доми-никанском хабите.

– Феликс Морлен, из Льежа, – представился незнакомец, делая шаг вперед.

– Феликс Ардевол. Из Вика.

– А, тетка! – воскликнул тот, смеясь и протягивая руку.

С этого дня они сдружились. Морлен по секрету рассказал, что эта комната – самая желанная в общежитии, и спросил, кто составил ему протекцию. Ардевол ответил, что никто, просто толстый плешивый комендант посмотрел в свои бумаги и сказал: Ардевол? Cinquantaquattro¹⁰ – и не глядя сунул ему в руки ключ. Морлен не поверил, но с готовностью рассмеялся.

В ту же неделю, до начала учебы, Морлен представил его восьми или девяти студентам второго курса – тем, кого знал сам, и порекомендовал не тратить понапрасну времени на общение с теми, кто учится не в Григорианском университете и не в Библейском институте, подсказал способ, как незаметно проскользнуть мимо привратника-цербера, посоветовал приобрести какую-нибудь мирскую одежду на случай отлучки в город, показал новичкам-первокурсникам, как быстрее всего дойти от общежития до других зданий Папского Григорианского университета. По-итальянски он говорил с французским акцентом, но это не мешало. А еще Морлен прочел лекцию, как важно держаться подальше от иезуитов из Григорианского университета, потому что, коли не побережешься, они тебе мозг взорвут. Вот так – бабах!

Накануне начала занятий всех студентов – и новых, и старых, приехавших из тысячи разных мест, – собрали в огромном актовом зале палаццо Габриэлли-Борромео, и отец де-

¹⁰ Пятьдесят четыре (*ит.*).

кан Папского Григорианского университета (он же – Римская коллегия) Даниэль д’Анжело, S. J.¹¹, на безупречной латыни сообщил: вы должны ощущать то великое счастье, то великое преимущество, которые обретаєте, получив возможность учиться на одном из факультетов Папского Григорианского университета и т. д. и т. д. и т. д. Здесь мы имеем честь собирать блестящих студентов, среди коих было немало Святых Отцов, последним из которых является достойнейший папа Лев XIII¹². Мы от вас не требуем ничего, кроме прилежания, прилежания и прилежания. Сюда приходят, чтобы учиться, учиться, учиться и приобщаться к знаниям под руководством лучших профессоров в области теологии, канонического права, духовности, истории Церкви и т. д. и т. д. и т. д.

– Отец д’Анжело известен как д’Анжело-анжело-анжело, – шепнул ему на ухо Морлен с очень серьезным видом.

Закончив учебу, вы разъедетесь по всему миру, вернетесь в свои страны, в родные семинарии, в школы родных орденов. Те из вас, кто еще не рукоположен, обретут священнический сан и смогут собрать достойную жатву с того, что вам только еще предстоит познать в этих стенах. И т. д. и т. д. и т. д. Еще минут пятнадцать столь же полезных

¹¹ S. J. (*um.* Societatis Jesu) – мужской монашеский орден Римско-католической церкви. Был основан святым Игнатием Лойолой и одобрен папой Павлом III в 1540 г.

¹² Лев XIII (1810–1903) – римский папа с 1878 по 1903 г. Среди выпускников Григорианского университета – 20 святых, 29 блаженных и 14 римских пап.

в каждодневной жизни рассуждений (увы, не таких полезных, как советы Морлена). Феликс Ардевол думал, что могло быть и гораздо хуже, ибо латинские речи в Вике бывали зачастую значительно более тоскливыми, чем этот набор простых и вполне осмысленных наставлений.

Первые месяцы учебы – до Рождества – прошли без потрясений. Феликс Ардевол восхищался просветленной мудростью отца Фалубы – иезуита, наполовину словака, наполовину венгра, великолепного знатока библеистики; педантичной сухостью рассуждений сурового в общении со студентами отца Пьера Блана, рассказывавшего им об Откровении Божьем и о передаче его Церкви, который, хоть и был тоже родом из Льежа, поставил на экзамене Морлену «неудовлетворительно», когда тот отвечал ему введение в мариологию¹³. Ардевол сблизился с Драго Градником, своим соседом по парте на занятиях. Это был словенец из Люблянской семинарии, огромного роста, с красным лицом и мощной, как у быка, шеей на которой, казалось, вот-вот лопнет белый воротничок. Говорили они мало, несмотря на то что латынь оба знали хорошо. Оба были застенчивы и стремились направить всю энергию на занятия. Пока Морлен жаловался на учебу и старательно обзаводился разными знакомыми и приятелями, Ардевол, запершись в келье номер пятьдесят четыре – лучшей в общежитии, – читал на демотическом

¹³ *Мариология* – раздел теологии, касающийся Девы Марии.

египетском¹⁴, коптском, греческом или арамейском папирусы и прочие библейские рукописи, которые приносил ему отец Фалуба, обучая студентов искусству любви к вещам. Манускрипт, изъеденный временем, бесполезен для науки, говорил он. Если берешься реставрировать, то уж нужно отреставрировать, чего бы это ни стоило. У реставратора роль не меньше, чем у ученого, который будет потом толковать документ. Он никогда не вставлял «и т. д. и т. д. и т. д.», потому что всегда знал, о чем говорит.

– Идиотизм, – вынес приговор Морлен, выслушав его. – Эти типы счастливы, только если на столе перед ними лежат древние бумажки, изъеденные мышами.

– Счастливы, как и я.

– Да кому нужны эти мертвые языки? – спросил Морлен на изысканной латыни.

– Отец Фалуба говорил нам, что люди живут не в стране, а в языке. И что, оживляя мертвые языки...

– *Sciocchezze!*¹⁵ Глупости! Единственный мертвый язык, который еще жив, – это латынь.

Они шли по виа ди Сант-Игназио. Ардевол, защищенный от мира своей сутаной, Морлен – хабитом. Впервые Ардевол посмотрел на друга с удивлением. Он остановился и озадаченно спросил, во что же тот верит? Морлен тоже остано-

¹⁴ *Демотический язык* – одна из форм египетского письма, применявшаяся для записи текстов с VII в. до н. э. до V в. н. э.

¹⁵ Ерунда! (*um.*)

вился и ответил, что решил стать монахом-доминиканцем, руководствуясь огромным желанием помогать другим и служить Церкви. И ничто не отвлечет его с этого пути. Однако служить Церкви для него значит заниматься реальным делом, а не корпеть над истлевшими бумажками, значит влиять на людей и через них – на жизнь... Он перевел дух и добавил: ну и т. д. и т. д. и т. д. Оба друга расхохотались. В этот момент Каролина первый раз прошла около них, но ни тот ни другой не обратили на нее никакого внимания.

Когда я возвращался домой с Лолой Маленькой, то должен был упражняться на скрипке, пока она готовила ужин. Квартира была погружена в темноту. Мне это не нравилось, потому что во тьме за любой дверью мог притаиться злодей. Поэтому я всегда носил в кармане Черного Орла, ведь в доме – по давнишнему решению отца – не было ни образков святых, ни освященных предметов, ни молитвенников. А бедняга Адриа Ардевол отчаянно нуждался в незримой защите. Однажды вместо того, чтобы разучивать упражнения на скрипке, я застыл в столовой, наблюдая, как на картине над буфетом солнце прячется за вершины Треспуя, освещая волшебным светом монастырь Санта-Мария де Жерри. Этот магический свет неизменно завораживал меня и рождал в голове фантастические истории... Я не слышал, как хлопнула входная дверь. Голос отца громохнул у меня за спиной, испугав до полусмерти:

– Та-а-ак... Позволь узнать, с какой стати ты тут прохла-

ждаешься? Тебе разве нечем заняться? У тебя нет домашнего задания по скрипке? Ты уже все сделал?

И Адриа идет в свою комнату. Сердце все еще бултыхается в грудной клетке и испуганно делает тук-тук-тук. Я не завидовал детям, которых родители обнимают и целуют, – думал, что такого не бывает.

– Карсон, позволь представить тебе: Черный Орел из славного племени арапахо¹⁶.

– Привет!

– Хау!

Черный Орел целует шерифа Карсона (то, чего никогда не делает отец), и Адриа ставит их обоих, вместе с лошадьми, на ночной столик, чтобы они получше познакомились.

– Я вижу, тебя что-то мучает.

– После трех лет изучения теологии, – задумчиво говорит Ардевол, – я все никак не могу понять, что тебя на самом деле интересует? Доктрина милости Божьей?

– Ты не ответил на мой вопрос, – напомнил Морлен.

– Это был не вопрос. Или надежность доктрины Откровения Божьего?

Морлен молчал, и Феликс Ардевол продолжал настаивать:

– Зачем ты учишься в Григорианском университете, если теология тебя не?..

Они отстали от остальных студентов, вихрем несшихся

¹⁶ *Arapaho* – индейский народ, живущий в штатах Оклахома и Вайоминг.

от учебного корпуса к общежитию. За два года христологии и сотериологии¹⁷, первой и второй части курса метафизики, Божественного Откровения и диатриб самых требовательных наставников – особенно Левински, преподававшего Божественное Откровение и полагавшего, что Феликс Ардевол не оправдывает возложенных на него надежд, – за два эти года Рим не слишком изменился. Несмотря на то что Европа билась в военных конвульсиях, город не стал кровоточащей раной, скорее – просто выглядел теперь беднее. Тем временем студенты Папского университета переживали свои собственные драмы и конфликты. Почти все. И разрешали их с мудростью и достоинством. Почти все.

– Ну а тебе что интересно?

– Теодицея¹⁸ и первородный грех меня больше не интересуют. Я не желаю никаких оправданий. Мне тяжело думать, что Господь допускает зло.

– Я подозревал это уже довольно давно.

– И ты тоже?

– Нет, ты не так понял: я подозревал, что ты слишком запутался. Попробуй смотреть на мир, как я. Меня устраивает факультет канонического права. Юридические отношения между Церковью и гражданским обществом, церковные санкции, имущество Церкви, харизма институтов посвящен-

¹⁷ *Сотериология* – богословское учение об искуплении и спасении человека.

¹⁸ *Теодицея* – теологическая доктрина, согласующая сосуществование благого, мудрого и могущественного Бога и зла в мире.

ной Богу жизни, la Consuetudine canonica...¹⁹

– Да что ты такое говоришь?

– Отвлеченные ученые штудии – пустая трата времени, все эти крючкотворы заняты совершенной ерундой.

– Нет, нет! – воскликнул Ардевол. – Мне нравится арамейский, меня восхищают манускрипты, я наслаждаюсь, когда понимаю разницу в морфологии между восточным и северо-восточным новоарамейскими языками или, например, отличия халдейско-арамейского диалекта от диалекта млахсо.

– Слушай, я вообще не понимаю, о чем ты толкуешь. Мы в одном университете учимся, а? На одном факультете? Мы с тобой в Риме находимся или где?

– Не имеет значения! Пока мне преподает отец Левински, я хотел бы узнать все, что известно о халдейском, вавилонском, самаритянском и...

– И чем тебе это поможет в жизни?

– А чем тебе поможет знание тончайших отличий «брака законного» от «брака, осуществленного в полной мере» согласно каноническому праву?

Оба начали хохотать, стоя прямо посреди виа дел Семинарио. Глядя на этих молодых священнослужителей, так откровенно и бесстыдно проявляющих неуместное жизнелюбие, какая-то почтенная дама, одетая во все черное, казалось, была готова упасть в обморок.

¹⁹ Обычай в каноническом праве (*лат.*).

– Так что же тебя гнетет, Ардевол? Вот это вопрос.

– Сначала скажи: а тебя-то что интересует по-настоящему? Если говорить начистоту?

– Все!

– И теология?

– Как часть всего, – ответил Морлен, воздевая руки, словно хотел благословить фасад библиотеки Казанате²⁰ и человек двадцать прохожих, спешащих по своим делам.

Наконец они тронулись с места, продолжая разговор на ходу. Феликсу Ардеволу было непросто понять ход мыслей друга.

– Возьмем войну в Европе, – говорил Морлен, энергично кивая куда-то в сторону Африки. Он понизил голос, словно опасался шпионов.

– Италия должна сохранять нейтралитет, потому что Тройственный союз²¹ – это только договор о взаимопомощи при обороне, – сказала Италия.

– В союзе мы выиграем войну, – ответила Антанта.

– Я не изменяю ради других интересов данному слову, – с достоинством заявила Италия.

– Мы обещаем отдать тебе спорные Трентино, Истрию

²⁰ Библиотека, созданная в 1701 г. под патронажем кардинала Джироламо Казанате в доминиканском монастыре Санта-Мария сопра Минерва.

²¹ *Тройственный союз* – военно-политический блок Германии, Австро-Венгрии и Италии, сложившийся в 1879–1882 гг., по которому Германия и Австро-Венгрия обязались оказать Италии помощь в случае, если она подвергнется нападению Франции. Договор возобновлялся в 1887, 1891, 1902 и 1912 гг.

и Далмацию.

– Повторяю, – говорит Италия величественно, глядя в никуда, – что нам приличествует сохранять нейтралитет.

– Хорошо. Но если ты подпишешь сегодня – не завтра, понимаешь? – если ты подпишешь сегодня, то получишь желаемое: и Альто-Адидже, и Трентино, и Венецию-Джулию, и Истрию, и Фиуме, и Ниццу, и Корсику, и Мальту, и Далмацию²².

– Где я должна подписать? – ответила Италия. И воскликнула с горящими глазами: – Да здравствует Антанта! Пусть рухнут старые европейские империи! Вот и все, Феликс, политика – такое дело. Сначала ты договариваешься с одними, а потом – с другими.

– А как же высокие идеалы?

Теперь Феликс Морлен остановился и посмотрел в небо, намереваясь изречь афоризм:

– Мировая политика – вовсе не высокие идеалы, а высокие международные интересы. И Италия это хорошо поняла: стоило ей встать на сторону добра, то есть на нашу, и тут же оборона в Трентино, контратака, битва при Капо-

²² Речь идет о Лондонском пакте – секретном соглашении между Италией и странами Антанты, подписанном в Лондоне 26 апреля 1915 г. представителями Италии, Великобритании, Франции и России. Оно определяло условия вступления Италии в Первую мировую войну. В результате Италия должна была получить Тироль (что включает современные итальянские провинции Тренто и Больцано), Истрию, Северную Далмацию и ряд других территорий.

ретто²³, триста тысяч убитых, Пьява, прорыв фронта возле Витторио-Венето²⁴, перемирие в Падуе, создание Королевства сербов, хорватов и словенцев²⁵ – фантома, не просуществовавшего и пары месяцев и превратившегося в то, что называется Югославией. Думаю, спорные регионы – это приманка, которую союзники заберут себе. В общем, тривиальная борьба союзников за вожаделенные куски пирога. А Италия в ней останется с носом²⁶. Покуда все заняты дележкой территорий, война не закончится. Надо ждать, когда на сцене появится настоящий враг – тот, что еще не проснулся.

– Какой?

– Большевистский коммунизм. Поверь, через пару лет ты поймешь, что я был прав.

– Откуда тебе все это известно?

– Из газет, из разговоров с умными людьми. Надо уметь

²³ *Битва при Капоретто* (24 октября – декабрь 1917 г.). Одно из крупнейших сражений Первой мировой войны, когда австро-германские войска осуществили широкомасштабное наступление на позиции итальянской армии и вытеснили ее за реку Пьява.

²⁴ *Битва при Витторио-Венето* – наступательная операция войск Антанты на реке Пьява, проведенная 25 октября – 3 ноября 1918 г. В итоге союзные войска вынудили австро-венгерскую армию капитулировать. Перемирие было подписано 3 ноября 1918 г. на Вилла-Джусти (Падуя).

²⁵ *Королевство сербов, хорватов и словенцев* – государственное образование, созданное 29 октября 1918 г. после распада Австро-Венгрии.

²⁶ Поскольку Италия в результате Парижской мирной конференции не получила значительной части тех территорий, которые были ей обещаны Лондонским пактом 1915 г., то чувствовала себя, по распространенному тогда выражению, «побежденной в лагере победителей».

грамотно пользоваться связями. Если бы ты знал, какую незавидную роль играет Ватикан во всех этих событиях...

– Когда же ты успеваешь изучать сакральное влияние таинств на душу или доктрину милости Божьей?

– То, чем я занимаюсь, – тоже учеба, дорогой Феликс. Это позволит мне стать хорошим слугой Церкви. Церкви нужны и богословы, и политики, и такие, как ты, – просветленные, изучающие мир сквозь стекло лупы. Отчего же ты унываешь?

Некоторое время они шли молча, опустив голову, каждый погруженный в свои мысли. Внезапно Морлен остановился и воскликнул: ну конечно!

– Что?

– Я знаю, что с тобой происходит! Знаю, отчего ты впал в уныние!

– Да неужели?

– Ты – влюбился!

Феликс Ардевол-и-Гитерес, студент четвертого курса Папского Григорианского университета в Риме, обладатель наград за выдающиеся успехи в учебе по итогам первых двух курсов, открыл рот, чтобы что-то возразить, и тут же закрыл. Они встретились в пасхальный понедельник. Страстная неделя закончилась, ему решительно нечем было заняться после того, как он написал работу о Вико: его *el verum et factum reciprocantur seu convertuntur*²⁷ и о невозможности по-

²⁷ Истина и факт соответствуют друг другу или сходятся (лат.).

нять все (тогда как Феликс Морлен был, наоборот, настроен против идей Вико и производил впечатление человека, понимающего все странные процессы в обществе). Они переходили через *Piazza di Pietra*²⁸, и тут он увидел ее в третий раз. Ослепительная. Их отделяло друг от друга несколько десятков голубей. Он приблизился, а она – в руке кулек с кормом для птиц – улыбнулась ему. И в тот же миг мир стал чудесным, прекрасным, сияющим. И это было совершенно логично: красота, *такая* красота, не может быть делом дьявольских рук. Красота – божественна, и ангельская улыбка тому подтверждение. Он вспомнил, как видел ее во второй раз, тогда Каролина помогала отцу разгружать повозку у дверей лавочки. Такая нежная спина должна была принимать на себя тяжесть грубых деревянных ящиков с яблоками? Этого он не мог вынести и бросился помогать девушке. Они вдвоем, молча, при ироничном одобрении мула, жующего сено из торбы, сгрузили три ящика. Он тонул в глубине ее глаз, не испытывая ни малейшего желания опустить взгляд в ложбинку между грудями, а все, кто был в лавочке Саверио Амато, молчали, потому что никто не знал, что делать, когда студент Папского университета, будущий священник, духовное лицо, подтыкает подол святой сутаны и, как грузчик, таскает тяжести, при этом так странно глядя на их дочь. Три ящика яблок – настоящий дар Божий в военное время; три мгновения наслаждения возле красоты – а затем очнуться, огля-

²⁸ Площадь Святого Петра (*ит.*).

даться вокруг, увидеть людей внутри лавочки синьора Амато, сказать *buona sera*²⁹ – и пойти прочь, не смея обернуться и еще раз посмотреть на нее... а жена синьора Амато догоняет его и сует в руки пару румяных красных яблок... и невозможно отказаться... и он краснеет, потому что в голове вдруг проносится мысль, что так же в его ладонях могли бы лежать восхитительные груди Каролины... Он вспомнил, как увидел ее в первый раз. Каролина, Каролина, Каролина – самое прекрасное имя на свете. Но тогда еще безымянная девушка, что шла перед ним по улице, оступилась, подвернула ногу и вскрикнула от боли, бедняжка. А он шел с Драго Градником, который за два года учебы на факультете теологии вырос на добрых полпяди, да и в весе прибавил шесть или семь фунтов. Последние три дня тот был озабочен доказательством бытия Божия святого Ансельма³⁰. Как будто на свете не было никаких других тому доказательств, например красоты этого нежнейшего существа. Драго Градник не обратил внимания на то, что девушка, должно быть, чувствует нестерпимую боль. А Феликс Ардевол нежно прикоснулся к ноге прекрасной Адалаизы³¹, Беатриче, Лауры, чтобы помочь ей встать, и в тот момент, когда он дотронулся

²⁹ Добрый вечер! (*ит.*)

³⁰ 1 Ансельм Кентерберийский в 1078 г. предложил т. н. онтологическое доказательство бытия Божия.

³¹ 2 Героиня поэмы «Граф Арнау» классика каталонской литературы Жуана Марагаля (1860–1911).

до ее щиколотки, электрический разряд в сто раз сильнее, чем вольтова дуга, которую демонстрировали на Всемирной выставке, прошел по его позвоночнику. И, спрашивая, больно ли синьорине, на самом деле хотел одного – как можно быстрее сжать ее в объятиях. Первый раз в жизни Ардевол почувствовал желание такой силы – острое, безжалостное, страшное, требующее немедленного удовлетворения. А Драго Градник тем временем смотрел в другую сторону, размышляя о святом Ансельме и о других возможных аргументах, более рациональных, в пользу доказательства бытия Божия.

– *Ti fa male?*³²

– *Grazie, grazie mille, padre...*³³ – ответила она нежно, глядя на него бездонными глазами.

– Если Бог наделил нас разумностью, то, я считаю, вера может идти рука об руку с рациональным. Как думаешь, Ардевол?

– *Come ti chiami* (прекрасная моя нимфа)?³⁴

– *Carolina, padre. Grazie*³⁵.

Каролина, какое прекрасное имя! Так, и только так должно звать тебя, любовь.

³² Тебе больно? (*ит.*)

³³ Спасибо, большое спасибо, падре (*ит.*).

³⁴ Как тебя зовут? (*ит.*)

³⁵ Каролина, падре. Спасибо (*ит.*).

– Ti fa ancora male, Carolina³⁶ (сама Красота, без сомнения)? – повторил он обеспокоенно.

– Разум. Через разум к вере. Это ересь, а? Что скажешь, Ардевол?

Он был вынужден оставить ее сидеть на скамейке, потому что нимфа, покраснев от смущения, уверила, что за ней сейчас придет мать. Они двинулись дальше, и, слушая рискованные размышления Драго Градника на гундосой латыни о том, что, возможно, святой Бернард не всегда был святым, а эссе Тейяра де Шардена³⁷, кажется, заслуживает внимания, Феликс внезапно обнаружил, что подносит к лицу руку и пытается уловить тонкий аромат кожи божественной Каролины.

– Влюбился? Я?! – Он в изумлении посмотрел на Морлена.

– У тебя налицо все симптомы.

– Ты-то откуда знаешь?

– Я уже через такое проходил.

– И как тебе удалось выбраться? – с тоской в голосе спросил Ардевол.

– Я и не выбирался, а, наоборот, с головой погрузился. До тех пор, пока влюбленность не прошла. А потом – долой!

³⁶ Тебе все еще больно, Каролина? (*ит.*)

³⁷ В 1916 г. Шарден написал свое первое эссе «La vie cosmique» («Космическая жизнь») – философские и научные размышления о мистике и духовной жизни.

– Но это же ужасно!

– Это жизнь. Я грешен, каюсь.

– Влюбленность – бесконечна, она не заканчивается никогда. Я не смог бы...

– Боже мой, как ты живешь, Феликс Ардевол!

Ардевол не ответил. Перед ним – три десятка голубей, в тот пасхальный понедельник на *Piazza di Pietra*. Непреодолимая страсть гнала его через толчею птиц, пока он не подошел к Каролине вплотную и та не протянула ему маленький сверток.

– *Il gioiello dell’Africa*³⁸, – сказала нимфа.

– Откуда ты знаешь, что я...

– Вы каждый день проходите здесь. Каждый день.

И вот, как сказано у Матфея (25: 51), завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли.

Тайна Бога и Слова Божия, ставшего плотью.

Тайна Пресвятой Девы и Матери Божьей.

Тайна христианской веры.

Тайна Церкви – человеческой и несовершенной, Божественной и вечной.

Тайна любви к девушке, вручившей мне сверток, который два дня лежит у меня на столе в комнате пятьдесят четыре и который только на третий день я решаюсь развер-

³⁸ Сокровище из Африки (*um.*).

нуть. Оберточная бумага скрывала небольшую коробочку. Господь Всемогуший! Я стою на краю пропасти.

Я ждал субботы. Большинство студентов сидели по своим комнатам. Некоторые вышли прогуляться, другие засели в многочисленных римских библиотеках, где погрузились, проклиная все на свете, в рассуждения о природе зла и о том, отчего Господь попускает его, о существовании злокозненных демонов, о правильном прочтении Священного Писания и о появлении неум³⁹ в григорианских распевах и в распевах Амвросия Медиоланского. Феликс Ардевол был один в комнате пятьдесят четыре: пустой стол без единой книги, каждая вещь на своем месте, потому что если не соблюдать порядок, то воцарится безобразный хаос, за который будет цепляться взгляд и... Он подумал, что становится одержим порядком. Я думаю, что именно тогда это и началось: отец был помешан на порядке в доме. Зато беспорядок в голове не слишком его беспокоил. А вот книга, лежащая на столе, вместо того чтобы стоять на полке, или бумажка, забытая на подоконнике, – это абсолютно непозволительно и непростительно. Ничто не должно было оскорблять его взгляд, и все усердно соблюдали установленный порядок, особенно я, поскольку был обязан каждый день расставлять по местам все свои игрушки. Избегали этого только шериф Кар-

³⁹ *Неумы* – знаки для записи мелодии в системе средневековой вокальной нотации.

сон и Черный Орел: они тайком отпраплялись спать со мной, отец так никогда об этом и не узнал.

Комната пятьдесят четыре чиста и практически стерильна. Феликс Ардевол стоит и смотрит в окно. На мельтешение сутан, спящих у входа в общежитие. На лошадь, везущую кабриолет по виа дель Корсо, скрывающий за задернутым пологом постыдные и возмутительные секреты. На мальчишку – тот от нечего делать пинает металлическое ведро, и оно оглушительно грохочет. Он так скован страхом, что абсолютно все бьет по его натянутым нервам. На столе лежит вещь, которая появилась неожиданно и у которой здесь нет места. Зеленая коробочка, подаренная Каролиной, с сокровищем из Африки внутри. Его судьба. Он дал себе слово, что, прежде чем колокола церкви Святой Марии пробьют полдень, он либо выбросит коробочку, либо откроет ее. Либо наложит на себя руки. Одно из трех.

Потому что одно дело – жить ради научных исследований, посвятить себя восхитительному миру палеографии, вселенной древних манускриптов, изучать мертвые языки, потому что веками они были законсервированы в ветхих папирусах, листы которых только и донесли их до потомков, разбираться в древней и средневековой палеографии, радоваться, что мир рукописей так огромен, что, коли надоест, всегда можно переключиться на санскрит и азиатские языки, и если однажды у меня будет сын, то я хотел бы, чтобы он...

С какой стати я пустился в размышления, что хотел бы

иметь сына? — он возмутился, нет, рассердился на себя. И вернулся к созерцанию коробочки, нарушавшей своим присутствием чистоту стола в комнате пятьдесят четыре. Феликс Ардевол смахнул невидимую нитку, якобы приставшую к сутане, провел пальцем по раздраженной коже, натертой воротничком, и сел к столу. До того момента, когда колокола церкви Святой Марии начнут бить полдень, оставалось три минуты. Он глубоко вдохнул и принял решение: с самоубийством можно подождать. Феликс взял коробочку очень осторожно, словно ребенок, несущий в руках птичье гнездо, которое снял с дерева, чтобы показать маме лежащие там зеленые яйца или беззащитных птенцов; мама, я их покормлю, не волнуйся, я дам им много муравьев... Как лань, страждущая у потоков вод, Господи. Как бы он ни поступил — так или иначе, почему-то Ардевол знал, что его поступок оставит ощущение необратимости в душе. Две минуты. Дрожащими пальцами он попытался развязать красную ленту, но вместо этого узел затянулся еще крепче. В том не было вины бедняжки Каролины, во всем были виноваты его нервы. Он вскочил в нетерпении. Полторы минуты. Феликс подошел к умывальнику и взял опасную бритву. Торопливо раскрыл. Минута и пятнадцать секунд. Он безжалостно разрезал красную ленту, прекраснее которой не видел за свою долгую жизнь, поскольку в двадцать пять лет чувствовал себя старым и усталым и хотел, чтобы подобные вещи происходили не с ним, а с каким-нибудь другим Феликсом, кото-

рый бы с легкостью мог отмахнуться от всего этого и... Минута! Во рту пересохло, руки стали влажными, капля пота скатилась по шее – и это дня не прошло с... Осталось две секунды, потому что колокола церкви на виа Лата бьют «Ангелус» точно в полдень. И в то время как в Версале компания весельчаков сообщала, что война закончилась, и, высушив от усердия язык, подписывала мирный договор, приведя в действие механизмы, сделавшие возможной новую блистательную войну несколько лет спустя – еще более кровавую и разрушительную (чего Господь не должен был бы допускать никогда), Феликс Ардевол-и-Гитерес открыл зеленую коробочку. Очень осторожно он приподнял ватку розового цвета и с первым ударом колокола – *Angelus Domini nuntiavit Mariae*⁴⁰ – заплакал.

Потихоньку выскользнуть из общежития довольно просто. Мы – Морлен, Градник и еще пара-тройка проверенных друзей – проделывали это не один раз, и это всегда сходило нам с рук. Если ты одет в обычную одежду, Рим открывает для тебя множество дверей. В том числе те, что закрыты перед тобой, если на тебе сутана. Одетый как все, ты можешь пойти в музеи, куда вход духовным лицам запрещен. Или сидеть с чашкой кофе на пьядца Колонна, разглядывая идущих мимо людей. Несколько раз Морлен водил меня, «возлюбленного ученика», знакомиться с теми, с кем, по его увере-

⁴⁰ «Ангел Господень возвестил Марии» (*лат.*) – первая строчка молитвы «Ангел Господень».

ниям, полезно быть знакомым, и представлял там как Феликса Ардевола, ученого, знающего восемь языков, перед которым древние манускрипты раскрывают свои тайны. И передо мной открывали надежные футляры и позволяли взглянуть на оригинал *La mandragora*⁴¹ – невероятная прелесть! – или почти истлевшие папирусы эпохи Маккавеев. Однако сегодня, в день, когда Европа подписала мирный договор, мудрец-ученый Феликс Ардевол впервые вышел тайком из общежития, прячась не только от начальства, но и от своих друзей. Одетый в куртку и кепку, скрывающие его принадлежность к Церкви, он напрямик направился к фруктовой лавке синьора Амато, затаился неподалеку от нее и стал ждать, сжимая в кармане зеленую коробочку. Мимо него сновали беззаботные и счастливые люди, которых, в отличие от него, не трясло в лихорадке. И мать Каролины, и ее младшая сестра. Кто угодно, только не его возлюбленная. Сокровище – грубо сделанный медальон с вырезанной в романском стиле фигурой Пресвятой Девы возле огромного дерева, похожего на ель. А на обратной стороне выгравировано слово «Пардак». Из Африки? Может быть, коптский? Почему я произнес «моя любовь», если у меня нет никакого права на... Воздух сгустился так, что невозможно стало дышать. Начали звонить колокола, и Феликс, не знавший, по какой причине они звонят, решил, что все церкви в Риме звонят в честь его любви – тайной, скрытой от людских глаз и греховной. Лю-

⁴¹ Комедия «Мандрагора» Н. Макиавелли.

ди останавливались в изумлении, быть может ища Абеяра, но вместо того, чтобы показывать на него пальцем, спрашивали, что произошло, почему бьют все городские колокола, хотя только три часа пополудни и не время для звона. Господи Боже, может, война закончилась?

Наконец появилась Каролина Амато. Она вышла из дому и пошла по улице прямо к тому месту, где ждал Феликс, хотя ему казалось, что он спрятался хорошо. Ее короткие волосы растрепались. Она молча остановилась перед ним – лицо лучилось улыбкой. Он сглотнул слюну, нащупал в кармане коробочку, открыл рот и... ничего не сказал.

– Я тоже, – ответила она. И, дождавшись паузы в звоне колоколов, прибавила: – Тебе понравилось?

– Не уверен, что могу принять такой подарок.

– Это сокровище – мое. Мне его подарил дядя Сандро, когда я родилась. Он привез его из Египта. Теперь оно твое.

– А дома что скажут?

– Оно мое, а теперь – твое. Ничего не скажут. Это мой залог.

И она взяла его за руку. В этот момент небо упало на землю и Абеяр не ощущал больше ничего, кроме кожи Элоизы. Он шел куда-то, пока не оказался в каком-то тупике, загаженном нечистотами, но чувствовал только аромат роз любви. И вошел в дом, двери которого были нараспашку и внутри никого не было, а колокола все звонили и звони-

ли, и соседка кричала в окно: *nuntio vobis gaudium magnum*⁴², Elisabetta⁴³, *la guerra è finita!*⁴⁴ Но двое влюбленных были на пороге иного сражения и не слышали ничего.

⁴² Возвещаю вам великую радость! (*лат.*) – начальные строки латинской формулы, объявляющей о том, что избран новый папа римский.

⁴³ Елизавета (*лат.*).

⁴⁴ Война закончилась (*ит.*).

II. De pueritia⁴⁵

Хороший воин не может быть постоянно влюблен во всех бледнолицых скво⁴⁶, которых встречает на пути, как бы они ни раскрашивали лица в цвета войны.

Черный Орел

3

Не смотри на меня так. Я знаю, что могу и придумать кое-что, но не оставляю попыток говорить правду. Например, про мою первую комнату (где сейчас стоят книги по истории и географии). Мне кажется, что самое раннее мое воспоминание – как я лежу под кроватью, где устроил себе домик. Мне было там довольно удобно, и к тому же это забавно – видеть ноги входящих, которые ищут меня со словами Адриа, сынок, ты где? или Адриа, пора полдничать! Куда же он делся? Это было весело. Увы, мне часто бывало скучно, потому что наш дом не был предназначен для детей, равно как и моя семья. Мама как бы не существовало, а отец интересовался только своими торговыми операциями, и меня

⁴⁵ Из детства (лат.).

⁴⁶ Скво – женщина (на языке североамериканских индейцев).

терзала ревность, когда он восхищенно касался кончиками пальцев какой-нибудь гравюры или вазы тонкого фарфора. А мама... Мама, казалось, всегда начеку, всегда настороже, и в этом ей помогала Лола Маленькая. Сейчас я понимаю, что из-за отца она чувствовала себя дома не в своей тарелке. Это был дом отца, в котором он милостиво позволял ей жить. После смерти папы мама смогла вздохнуть спокойно и ее взгляд стал менее напряженным. Впрочем, она избегала смотреть на меня. Мама изменилась. Я задаюсь вопросом: почему? И еще: зачем они вообще поженились, мои родители? Не думаю, что они вообще любили друг друга. В нашем доме не ощущалось любви. И я появился в результате какого-то случайного пересечения родительских жизней.

В самом деле, забавно: мне столько всего нужно тебе рассказать, а я отвлекаюсь и трачу время на какие-то фрейдистские размышления. Наверное, дело в том, что все сложилось именно так из-за моих отношений с отцом. И возможно, умер он по моей вине.

Однажды (не знаю, сколько лет мне было, но я уже тайком вселился в кабинет отца – в то место между диваном и стеной, которое превратил в убежище для моих индейцев и ковбоев) отец вошел с кем-то в комнату: голос знакомый – вежливый и тем не менее вселяющий дрожь. Я тогда впервые услышал, как сеньор Беренгер разговаривает вне магазина: его манеры разительно переменились. С того момента мне перестал нравиться его голос что в магазине, что за его пре-

делами. Я замер в своем укрытии, осторожно опустив на пол шерифа Карсона. Но тут гнедая лошадь Черного Орла, обычно такая тихая, упала со стуком и напугала меня – как бы враг нас не засек. Однако отец продолжал говорить: я не обязан давать никаких объяснений.

– А я думаю, должны.

Сеньор Беренгер сел на диван, отчего тот немного придвинулся к стене. У меня промелькнула геройская мысль: пусть уж лучше меня раздавят, чем обнаружат. Я услышал, как сеньор Беренгер чем-то щелкает и папа ледяным тоном произносит: в этом доме запрещено курить. А сеньор Беренгер говорит, что по-прежнему требует объяснений.

– Вы работаете на меня. – И продолжил иронично: – Или я ошибаюсь?

– Я достал десять гравюр, я сделал так, чтобы потерпевшие не слишком протестовали. Я провез эти гравюры через три границы, я сделал экспертизу за свой счет, а теперь вы мне сообщаете, что продали их. Не посоветовавшись со мной. А автор одной из них – Рембрандт, знаете ли!

– Мы покупаем и продаем, чтобы заработать на эту ссучью жизнь.

Выражение «ссучья жизнь» я услышал впервые, и оно мне понравилось. Отец его так и произнес с двойным «с» – «ссучью жизнь». Думаю, оттого, что был очень раздражен. Я понял, что сеньор Беренгер улыбнулся, – я тогда отлично умел разбираться в самых разных типах молчания и был уверен,

что сеньор Беренгер улыбается.

– О, добрый день, сеньор Беренгер! – это голос мамы. – Ты не видел мальчика, Феликс?

– Нет.

Надвигалась катастрофа. Что я мог предпринять, чтобы исчезнуть из своего убежища за диваном и объявиться в другой части дома, сделав вид, что ничего не слышал? Я спросил совета у шерифа Карсона и Черного Орла, но они, увы, не могли мне помочь. Тем временем мужчины сидели молча, очевидно ожидая, когда мама выйдет из кабинета и закроет дверь.

– Всего доброго.

– Всего доброго, сеньора. – И он вновь заговорил, едва сдерживая раздражение: – Да вы меня попросту обокрали! Я требую заплатить мне достойные комиссионные. – Молчание. – Слышите? Настаиваю!

Разговор про комиссионные меня совершенно не интересовал. Чтобы успокоиться, я начал в уме переводить разговор на французский; конечно, это был весьма несовершенный французский, ведь мне было всего семь лет. Я периодически прибегал к этому способу, когда нужно было подавить внутреннее беспокойство, внезапные приступы тревоги. В тишине кабинета, замерев в своем убежище, я слышал каждое слово. *Moi, j'exige ma comission. C'est mon droit. Vous travaillez pour moi, monsieur Berenguer. Oui, bien sûr, mais j'ai*

de la dignité, moi!⁴⁷

Где-то в глубине дома мама звала: Адриа, малыш! Лола, ты не видела его? Dieu sait où est mon petit Hadrien!⁴⁸

Не помню точно, но мне кажется, что сеньор Беренгер, разъяренный, ушел довольно скоро и что отец выпроводил его со словами: любите кататься – любите и саночки возить, сеньор Беренгер, я не знал, как это перевести. К тому же гораздо больше мне хотелось, чтобы мама никогда не называла меня mon petit Hadrien.

Наконец у меня появился шанс выбраться из своего убежища. Пока отец провожал гостя к выходу, я успел уничтожить следы своего присутствия: партизанская жизнь дома наделила меня невероятной способностью к камуфляжу и даже, можно сказать, вездесущности.

– Вот ты где! – Мама вышла на балкон, откуда я наблюдал за машинами, которые уже включили фары (по моим воспоминаниям, в то время были вечные сумерки). – Ты разве не слышишь, что я тебя зову?

– Что? – У меня в руках были шериф и гнедая лошадь, и я сделал вид, что только пришел из сада.

– Нужно примерить школьную форму. Как ты мог меня не слышать?

– Форму?

⁴⁷ Я требую свои комиссионные! Это мое право. Вы работаете на меня, месье Беренгер. Да, конечно, но у меня есть чувство собственного достоинства! (*фр.*)

⁴⁸ Одному Богу ведомо, где мой малыш Адриен! (*фр.*)

– Сеньора Анжелета переделала рукава. – И тоном, не терпящим возражений, прибавила: – Идем!

В комнате для шитья сеньора Анжелета, зажав булавки во рту, оценивающим взглядом смотрела на новые рукава:

– Ты слишком быстро растешь, парень!

Мама вышла из комнаты, чтобы попрощаться с сеньором Беренгером, Лола Маленькая пошла в гладильню за чистыми рубашками, а я стоял в куртке без рукавов, как это не раз бывало в моем детстве.

– И слишком быстро протираешь рукава, – припечатала сеньора Анжелета, которой, наверное, было не меньше тысячи лет.

Хлопнула входная дверь. Шаги отца удалились в сторону кабинета, и сеньора Анжелета подняла седую голову:

– В последнее время у него много посетителей.

Лола Маленькая промолчала, сделав вид, что ничего не слышала. Сеньора Анжелета пришпилила булавками рукава к халату и сказала:

– Временами я слышу, они прямо-таки кричат...

Лола Маленькая молча взяла сорочки. Сеньора Анжелета не унималась:

– Поди знай, о чем они говорят...

– О ссучьей жизни! – сообщил я, не подумав.

Сорочки выпали из рук Лолы Маленькой на пол, сеньора Анжелета уколола мне руку булавкой, а Черный Орел отвернулся и начал всматриваться в сухой горизонт сквозь полу-

прикрытые веки. Он учуял облака пыли раньше, чем кто бы то ни было. Даже раньше, чем Быстрый Кролик.

– Приближаются три человека, – сказал он. Ему никто не ответил. В пещере в это нещадно знойное лето жара была не так мучительна, но никто: ни одна скво, ни один ребенок – и не думал интересоваться ни неожиданными гостями, ни их намерениями. Черный Орел едва заметно опустил веки – и три воина направились к лошадям. Сам он не переставал следить за облаками пыли. Они двигались прямо к пещере, никакого сомнения. Словно птица, отвлекающая внимание птицелова и различными уловками отводящая его от гнезда, Черный Орел с тремя воинами поскакал на запад. Обе группы встретились возле пяти дубов. Пришельцы оказались тремя белыми мужчинами: один совсем светлый, с белыми волосами, а двое других – смуглые. Мужчина с внушительными усами проворно спрыгнул с коня и усмехнулся.

– Ты – Черный Орел, – утвердительно сказал он, держа руки на виду в знак мирных намерений.

Великий вождь племени арапахо из Южных Земель, что недалеко от Уошито, едва заметно согласно наклонил голову, оставаясь в седле, при этом у него не шелохнулось ни один волос. А затем спросил: чем мы обязаны вашему визиту? Черноусый вновь усмехнулся, после чего ответил изящный полупоклон: я – шериф Карсон из Рокленда, что в двух днях пути от ваших земель.

– Мне известно, где находится Рокленд, – сухо ответил

великий вождь. – На территории пауни⁴⁹. – И плюнул на землю в знак презрения.

– Это мои помощники, – продолжил Карсон, не обращая внимания на плевок. – Мы ищем беглого преступника. – И тоже сплюнул.

– Что он сделал, что вы зовете его преступником?

– Ты знаешь его? Видел?

– Я спросил, что он сделал, что вы называете его преступником?

– Убил кобылицу.

– И обесчестил двух женщин, – добавил светловолосый.

– Да, конечно, и это тоже, – подтвердил шериф Карсон.

– Почему вы ищите его здесь?

– Он – арапахо.

– Мой народ рассеян на много дней к западу и на много дней к востоку, к холоду и к жаре. Отчего ты пришел его искать именно сюда?

– Ты знаешь, кто это. Мы хотим, чтобы он предстал перед судом.

– Ты ошибаешься, шериф Карсон. Твой убийца – не из арапахо.

– Вот как? Откуда тебе это известно?

Тем временем зажгли свет, и Лола Маленькая сделала ему знак выйти из кладовки. Перед Адриа – мама, в боевой рас-

⁴⁹ Пауни – индейское племя, жившее на территории современных штатов Небраска и Канзас.

краске на лице, не глядя на него, не сплюнув на землю, говорит: Лола, проследи, чтобы рот у него был как следует вымыт. С мылом. А если понадобится – добавь еще пару капель хлорки.

Черный Орел мужественно вынес эту пытку, не испустив ни единого стога. Как только Лола Маленькая закончила процедуру и уже вытирала его полотенцем, он посмотрел на нее и спросил: Лола, ты знаешь, что в точности значит «обесчестить женщину»?

Когда мне было семь или восемь лет, я думал, что сам решаю, как мне жить. Одним из лучших моих решений было доверить свое образование маме. Но, как видно, в нашей семье все происходило иначе. Я узнал об этом в тот вечер, когда меня больше всего волновало, как отец отреагирует на мою оплошность, и я установил подслушивающее устройство в столовой. Это не составило особого труда, поскольку между моей комнатой и столовой стена была тонкая. Официально я отправился в кровать рано, поэтому, когда отец вернулся, я уже якобы спал. Это было лучшим способом избежать нравоучений и опасных вопросов, потому что если бы я все же сказал ему в свою защиту, что выражение «ссучья жизнь» я услышал от него, то тогда бы тема беседы перешла от «у тебя такой грязный рот, что я его тебе сейчас вымою специальным мылом для плутов» к «откуда, черт побери! ты знаешь, что я сказал „ссучья жизнь“, бесстыжий лжец! А? А?

Может, ты шпионишь за мной?». А я ни за что не должен был раскрывать, что подслушиваю, потому как благодаря этому я потихоньку стал единственным обитателем дома, кто знал тайну каждого угла, каждого разговора, каждого обсуждения и необъяснимых слез. Как в ту неделю, которую Лола Маленькая провела в слезах и, выходя из своей комнаты, скрывала свое горе, которое, видимо, было огромно. Я лишь через много лет выяснил, почему она плакала, а тогда просто узнал, что бывают страдания, которые длятся целую неделю, и это внушило мне некоторый страх перед жизнью.

Итак, я присутствовал при разговоре родителей, приложив ухо к доньшку стакана, приставленного к стене. Поскольку, судя по голосу, папа устал, мама просто сообщила, что я достаточно наказан, и он не стал вникать в детали. Отец сказал, что все решено.

– Решено что? – тревожно спросила мама.

– Я запишу его в иезуитскую школу на улице Касп.

– Но, Феликс... ведь...

В тот день я узнал, что в нашей семье все решает только отец. И что мое образование зависит только от него. Я также отметил про себя, что потом надо посмотреть в Британской энциклопедии, кто такие иезуиты. Отец молча выдержал взгляд мамы. Наконец она решилась спросить:

– Почему именно иезуиты? Ты – неверующий и...

– Потому что это образование высочайшего уровня. Нам это по карману, у нас только один сын, так что нельзя

упустить шанс.

Итак, у них был только один ребенок. Или нет. Впрочем, не это в данном случае важно. Ясно было, что они не хотели просчитаться. Поэтому отец решил сделать ставку на языки, которые, как он знал, мне нравились.

– Что ты сказал?

– Десять языков.

– Ты хочешь сделать из нашего сына монстра.

– Он может их выучить.

– Хорошо, а почему – десять?

– Потому что патер Левински из Григорианского университета знал девять. Наш сын должен превзойти его.

– С какой стати?

– С той, что он назвал меня бестолочью перед другими учениками. Бестолковым – только потому, что мой арамейский был недостаточно беглым, хоть я и прослушал весь курс падре Фалубы.

– Не смей меня. Мы сейчас говорим об образовании нашего сына.

– Я вовсе не шучу. И говорю об образовании моего сына.

Я знал, что мама всегда очень переживала, когда отец говорил обо мне только как о своем сыне. Но сейчас ее мысли были заняты, как видно, другим, потому что она начала говорить, что не желает превращать меня в какое-то чудовище. С настойчивостью, которой я в ней и не подозревал, она говорила: слышишь, я не хочу, чтобы мой сын чувствовал се-

бя ярмарочным уродцем только ради того, чтобы превзойти патера Лувовски.

– Левински.

– Монстр Левински.

– Он – авторитетный теолог и библеист. И монстр эрудиции.

– Послушай, нам нужно поговорить спокойно.

Этого я не понял: разве они и так не говорили спокойно о моем будущем? Я тоже не волновался: главное, что не обсуждалась история с «ссучьей жизнью».

– Каталанский, испанский, французский, немецкий, итальянский, английский, латынь, греческий, арамейский и русский.

– Что это такое?

– Десять языков, которые он должен выучить. Три первых он уже знает.

– Нет, французский еще только начал.

– Но выучит, это понятно. Мой сын со всем справится. С языками все очень просто: он должен их выучить. Десять.

– А когда он будет играть?

– Он уже большой мальчик. И когда придет время выбирать ему занятие, он уже должен знать языки. – Отец устало вздохнул. – Об этом мы поговорим в другой раз.

– Ради всего святого, ему же только семь лет!

– Я не настаиваю на том, чтобы он сейчас начинал учить арамейский. – Отец, подводя итог, хлопнул ладонью по сто-

лу. – Начнет с немецкого.

Мне эта идея прилась по душе, поскольку Британскую энциклопедию я понимал самостоятельно, а со словарем – так и вообще без труда, а вот немецкий представлялся мне очень загадочным. Меня очаровывал мир склонений, мир языков, где слова меняют окончание в зависимости от своей функции в предложении. Я, конечно, не формулировал это именно так, но почти что так: немецкий требовал усилий.

– Нет, Феликс! Мы не можем совершить такую ошибку.

Я услышал, как кто-то сплюнул на землю.

– Да?

– Что это за арамейский? – спросил басом шериф Карсон.

– Я толком не знаю, нужно посмотреть.

Я был уникальным ребенком и знал это. А сейчас, вспоминая, как слушал разговоры о своем будущем, сжимая в руках шерифа Карсона и храброго вождя арапахо и стараясь не выдать себя, я понимаю, что был не просто уникальным, а совершенно уникальным.

– Нет тут никакой ошибки. В первый день занятий придет учитель, которого я нанял преподавать мальчику немецкий.

– Нет.

– Его зовут Ромеу, и этот юноша дорогого стоит.

Это известие меня очень взволновало. Преподаватель у нас дома? Мой дом – это мой дом. И я тот, кто знает обо всем, что здесь происходит, мне не нужны тут лишние

глаза. Нет, мне совершенно не нравился этот Ромеу, который будет повсюду совать свой нос и приговаривать: о, как мило, личная библиотека в семь лет. Но, фу, что за глупые книги – как говорят все взрослые, приходящие к нам домой. Нет уж, спасибо!

– Он будет учиться на трех факультетах.

– Что?

– Юридический и исторический. – Молчание. – Третий выберет по собственному желанию. Но главное – право. Оно просто необходимо, чтобы преуспеть в этом мире, живущем по законам крысиной стаи.

Тук, тук, тук, тук, тук. Моя нога начала непроизвольно дергаться: тук, тук, тук, тук. Я ненавидел право. Вообразить нельзя, как я его ненавидел. Сам не зная, что это такое, я ненавидел его смертельно.

– Je n'en doute pas, – disait ma mère. – Mais est-ce qu'il est un bon pédagogue, le tel Gomeu?⁵⁰

– Bien sûr, j'ai reçu des informations confidentielles qui montrent qu'il est un individu parfaitement capable en langue allemande⁵¹. Allemande?⁵² Tedesque?⁵³ Et en la pédagogie

⁵⁰ – Не сомневаюсь в этом, – сказала мама. – Вопрос в том, насколько он хороший педагог, этот Гомеу.

⁵¹ – Конечно, я получил все необходимые рекомендации, которые свидетельствуют, что он исключительно одарен в немецком языке (*фр.*).

⁵² Немецкий (*фр.*).

⁵³ Немецкий (*ит. с французским окончанием*).

de cette langue. Je crois que...⁵⁴

Я начал успокаиваться. Нога перестала дергаться, и я услышал, как мама поднялась и спросила: а что делать со скрипкой? Перестать брать уроки?

– Нет. Но она отойдет на второй план.

– Я не согласна с этим.

– Спокойной ночи, дорогая! – сказал отец, разворачивая газету. Он всегда в это время читал газету.

Итак, предстоит сменить школу. Ну и дела! Как страшно! Хорошо еще, что у меня есть шериф Карсон и Черный Орел. Скрипку на второй план? И почему арамейский следует учить потом? В ту ночь я долго не мог уснуть.

Уверен, что путаю события. Не знаю – было мне тогда семь, восемь или девять лет. Но способности к языкам у меня были, и родители, видя это, не хотели, чтобы они пропали впустую. Французский я начал учить, поскольку провел одно лето в Перпиньяне, в доме тети Авроры, и там очень быстро, к некоторому их смущению, перешел с горлового каталанского на французский. Поэтому, когда сейчас я говорю на французском, то говорю на диалектном *Midi*⁵⁵, что составляет предмет моей особой гордости. Не помню, сколько мне было лет. Немецкий я начал учить позже, английский – не знаю точно когда. Потом, кажется. Не то чтобы я хотел их

⁵⁴ И в сфере преподавания этого языка. Я думаю... (*фр.*)

⁵⁵ Midi-Pyrénées – регион на юге Франции (главный город – Тулуза).

изучать. Просто меня учили.

Теперь, когда я размышляю над всем этим, чтобы рассказать тебе, то вижу свое детство как длинный и тоскливый вечер воскресенья, когда я уныло брожу, изыскивая возможность проскользнуть в кабинет, и думаю, что было бы здорово иметь брата, что в какой-то момент читать надоедает, что Энид Блайтон⁵⁶ в меня уже больше не лезет, а еще – что завтра надо отправляться в школу, и это самое ужасное. Не потому, что я боюсь школы, преподавателей и отцов-иезуитов, а из-за других детей. Меня в школе пугали ребята – они смотрели на меня как на диковину.

– Лола!

– Что?

– Чем мне заняться?

Лола Маленькая перестает вытирать руки или красить губы и смотрит на меня.

– Можно мне пойти с тобой? – с надеждой спрашивает Адриа.

– Нет-нет, тебе будет скучно!

– Но если я останусь тут, то точно умру со скуки.

– Включи радио!

– Надоело.

Тогда Лола Маленькая берет пальто и выходит из комнаты, где всегда пахнет особым – ее – запахом, и тихонько,

⁵⁶ Энид Блайтон (1897–1968) – известная британская писательница, автор книг для детей и подростков.

чтобы никто не услышал, шепчет мне: попроси маму сводить тебя в кино. А потом громко говорит: всего хорошего, до встречи! – открывает входную дверь, подмигивает мне и выходит на улицу. Она-то знает, как сделать вечера воскресенья интересными, не знаю уж, каким образом, а я остаюсь дома, словно приговоренная проклятая душа.

– Мама!

– Что?

– Нет, ничего.

Мама поднимает голову от журнала, делает глоток кофе и, почти не глядя на меня, продолжает:

– Говори, сын.

Мне страшно просить ее сводить меня в кино.

Очень страшно – не знаю почему. Они такие серьезные, мои родители.

– Мне скучно.

– Так почитай. Если хочешь – повторим французский.

– Пойдем на Тибидабо!⁵⁷

– Господи, об этом нужно было просить утром.

Мы никогда не пойдем туда, на Тибидабо, ни утром, ни вечером в воскресенье. Я бывал там в мечтах, представляя это место по рассказам приятелей – полное хитрых механических аппаратов, таинственных аттракционов и... не знаю точно, чего еще. Главное, что это место, куда родители водят детей. Мои родители не водили меня ни в зоопарк, ни погу-

⁵⁷ *Тибидабо* – гора, район Барселоны, где расположен парк аттракционов.

лять по волнорезу. Они были холодными людьми. И не любили меня. Так мне кажется. Хотя в глубине души я все еще спрашиваю себя: зачем я был им нужен?

– А я все равно хочу на Тибидабо!

– Это что еще за крики? – раздраженно спрашивает отец из кабинета. – Хочешь, чтобы тебя наказали?

– Не хочу повторять французский!

– Я сказал: ты хочешь, чтобы тебя наказали?

Черный Орел пришел к заключению, что, в общем, это было очень несправедливо. И это знали и он, и шериф Карсон, и я. И чтобы уж совсем не скиснуть от скуки и, главное, чтобы избежать наказания, я принимаюсь за скрипичные упражнения, которые рассчитаны на продвинутых учеников, а потому сложны для исполнения. И еще, их тяжело выполнить так, чтобы это звучало хорошо. Скрипка у меня звучала ужасно, пока я не познакомился с Бернатом. Я бросал упражнения, так толком и не разучив.

– Папа, можно будет поиграть на Сториони?

Отец поднял голову. Он рассматривает, как всегда с лупой в руках, какой-то листок странного вида.

– Нет, – ответил он. И указал на то, что лежало перед ним на столе. – Смотри, какая прелесть!

Это очень старый документ, в нем что-то написано незнакомыми мне буквами.

– Что это?

– Фрагмент из Евангелия от Марка.

– А на каком это языке?

– На арамейском.

Слышишь, Черный Орел? На арамейском! Арамейский – это очень древний язык. Язык папирусов и пергаментов.

– Я смогу его выучить?

– Когда придет время.

Он говорит с чувством удовлетворения. И не скрывает этого. Когда я веду себя как надо, он думает: ну ладно, побалую смышленного ребенка. Я решил ковать железо, пока горячо.

– Можно мне поиграть на Сториони?

Феликс Ардевол молча смотрит на меня, отложив в сторону лупу. Адриа топает ногой:

– Только один разок! Ну, папа...

Взгляд отца, когда тот рассердился, пугает. Адриа может его выдержать не больше пары секунд, а потом приходится опустить голову.

– Ты не знаешь, что значит «нет»? Niet, nein, no, ez, non, ei, nem. Слышишь?

– «Ei» и «nem»?

– Это финский и венгерский.

Выходя из кабинета, Адриа обернулся и, кипя от злости, бросил страшную угрозу:

– Что ж... Тогда я не стану учить арамейский!

– Ты будешь делать то, что я тебе скажу, – заметил отец очень холодно и спокойно, потому что знал, кто здесь ука-

зывает, что делать. Он. После чего вернулся к своему манускрипту, арамейскому и лупе.

С того дня Адриа твердо решил, что будет вести двойную жизнь. У него уже были свои секреты, но отныне тайный мир расширит свои границы. Он поставил перед собой великую цель: разведать код от сейфа и, когда отца не будет дома, поиграть на Сториони. Никто и не заметит. А потом вернуть скрипку в футляр и в сейф, спокойно уничтожив все следы преступления. Пока же, поскольку никто не обращал на него внимания, он пошел разучивать арпеджио и ничего не рассказал ни шерифу, ни вождю арапахо, отдыхавшим на ночном столике.

4

Я помню отца только пожилым. А мама всегда была мамой. Жаль, что она меня не любила. Адриа знал, что его дедушка воспитал ее так, как мог это сделать человек, в очень молодом возрасте ставший вдовцом и оставшийся с ребенком на руках. Который растерянно озирается, ожидая, что кто-нибудь вручит ему пошаговую инструкцию «Как встроить ребенка в свою жизнь». Бабушка Висента умерла рано, когда маме было всего шесть лет. У нее сохранились какие-то смутные воспоминания о раннем детстве, а вот я о нем мог судить лишь по двум фотографиям: одна снята в день свадьбы дедушки и бабушки в фо-

тоателье на улице Кариа – на ней молодожены выглядят юной привлекательной парой, одетой специально «для портрета», а на другой бабушка держит маму на руках и натужно улыбается, словно знает, что не увидит ее первого причастия, и спрашивает: почему я должна умереть такой молодой и оставить внуку лишь одну выцветшую фотографию? Я ведь предвижу, что у меня будет чудесный внук, но мне не суждено познакомиться с ним. Мама росла одна. Никто не водил ее на Тибидабо, и, возможно, поэтому и она не водила туда меня, а я так хотел узнать, что это за живые автоматы, которые, если бросить в них монету, начинают волшебным образом двигаться и становятся похожи на людей.

Мама росла одна. В двадцатые годы, когда убивали на улицах, Барселона была цвета сепии, а диктатура Примо де Риверы⁵⁸ наполняла глаза барселонцев горечью. Дедушка Адриа понимал, что его дочь выросла и пришло время объяснять ей вещи, в которых он ничего не смыслит, ибо они не имеют отношения к палеографии. Тут-то в доме появилась дочь Лолы – экономки бабушки Висенты, которая продолжала вести все домашнее хозяйство, с восьми утра до восьми вечера, словно ее хозяйка была жива. Двухлетнюю дочку Лолы тоже звали Лола, поэтому Лолу-маму стали называть Большая. Бедная женщина умерла, так и не узнав

⁵⁸ *Мигель Примо де Ривера* (1870–1930) – испанский военный и политический деятель, в 1923–1930 гг. председатель правительства Испании. В 1923 г. совершил государственный переворот, в результате которого было приостановлено действие конституции, распущены правительство и парламент, введена цензура.

о провозглашении Республики. На смертном одре она завещала дочери заботиться о Карме, как о самой себе. И Лола Маленькая навсегда осталась с моей матерью. До самой маминой смерти. Лолы появлялись и исчезали в нашей семье, когда кто-то умирал.

С возникновением республиканских надежд и бегством короля, с провозглашением Каталонской республики⁵⁹ и последующими интригами мадридского правительства Барселона из сепии перекрасилась в серый цвет. Люди ходили по улицам, пряча от холода руки в карманы, но при этом приветствовали друг друга, угощали сигаретами и смеялись, потому что появилась надежда. Никто толком не знал на что, но она была. Феликс Ардевол, равнодушный и к сепии, и к серому, совершал вояжи и заключал выгодные сделки с одной-единственной целью: увеличить свою коллекцию, удовлетворить сжигавшую его жажду – даже не коллекционера, а собирателя. Ему было все равно – сепия или серый. Он замечал лишь то, что могло помочь расширить коллекцию. Поэтому он обратил внимание на доктора Адриа Боска, знаменитого палеографа из Барселонского университета, который, как утверждала молва, был настоящим знатоком и мог безошибочно датировать любую вещь. Ардевол завязал с ним взаимовыгодные отношения и стал так часто бывать в его кабинете в университете, что кое-кто из ассистен-

⁵⁹ Имеется в виду 2-я Испанская республика, провозглашенная в 1931 г. и существовавшая до установления диктатуры Франсиско Франко в 1939 г.

тов профессора Боска начал косо смотреть на частого посетителя. Тогда Феликс предпочел навещать профессора Боска дома, а не в университете. Особых причин не ходить в старое здание у него не было. И все же там он мог встретить бывшего товарища по учебе в Григорианском университете, к тому же там преподавали философию два каноника, знавшие его по семинарии в Вике, и могли бы удивиться его частым визитам к знаменитому профессору и в святой простоте спросить: а чем, собственно, ты, Ардевол, занимаешься? Или: а правда, что ты все бросил ради женщины? Правда, что променял блестящее будущее с санскритом и теологией на женскую юбку? Правда? Об этом тогда столько говорили! Если бы ты только знал, что про тебя рассказывали! Куда же пропала твоя знаменитая итальянка?

Когда Феликс Ардевол сказал профессору Боску «я хочу поговорить о твоей дочери», прошло шесть лет с того момента, как она обратила на него внимание. И когда Ардевол приходил с визитом к бабушке Адриа, она всегда спешила открыть ему дверь. Вскоре после начала Гражданской войны⁶⁰ (ей к тому времени исполнилось семнадцать) девушка заметила, что ей нравится манера сеньора Ардевола снимать шляпу при встрече с ней. И то, что он всегда при этом спрашивал: как поживаешь, красавица? Это ей особенно нравилось. Как поживаешь, красавица? И еще – цвет глаз сеньора

⁶⁰ Гражданская война в Испании 1936–1939 гг.

Ардевола. Насыщенно-каштановый. И запах английской лаванды, который оставался после него.

Но он пришел в плохие времена: три года войны, Барселона была не цвета пастели, не серой, а просто цвета огня, тоски, голода, бомбежек и смерти. Феликс Ардевол отсутствовал целыми неделями, уезжая по своим таинственным делам. Университет же оставался открытым, однако тревога сгущалась под сводами его аудиторий. Потом все успокоилось, но это было тяжелое спокойствие: тех преподавателей, что не покинули страну, Франко вычистил из университета, заменив профессурой, говорящей по-испански и без стеснения демонстрирующей свое невежество. Однако сохранялись островки – такие, как кафедра палеографии, – которые победители не сочли заслуживающими внимания. Сеньор Феликс Ардевол возобновил свои визиты, принося еще больше интересных вещей. Они с профессором Боском классифицировали, датировали, подтверждали подлинность, а потом Феликс торговал этими сокровищами по всему миру, а прибыль делил с профессором пополам, что было спасением в эти годы нужды. И те преподаватели, что выжили во франкистской мясорубке, снова косо смотрели на этого коммерсанта, который с хозяйским видом ходил по кафедре. По кафедре и по дому профессора Боска.

Пока шла война, Карме Боск видела его не слишком часто. Однако это время закончилось, и сеньор Ардевол вновь стал наносить визиты ее отцу. Мужчины запирались в каби-

нете, а Карме возвращалась к своим делам и говорила Лоле Маленькой: сегодня я не хочу идти покупать сандалии, и Лола знала, что причина тому – приход сеньора Ардевола, засевшего с хозяином в кабинете над древними бумагами, и потому отвечала, пряча улыбку: как скажешь, Карме. После войны отец, практически не посоветовавшись, записал ее во вновь открытую Библиотечную школу. Те три года, которые она там провела, почти что возле дома, поскольку они жили на улице Делс-Анжелс, стали самыми счастливыми в ее жизни. В школе она нашла подруг, с которыми обменялась обещаниями видаться и после окончания учебы, даже когда все выйдут замуж и т. д., и с которыми больше никогда не виделась, даже с Пепитой Масриерой. Карме устроили работать в университетскую библиотеку – возить тележки с книгами, и девушка безуспешно пыталась выглядеть так же сурово, как сеньора Каньямерес. Иногда она встречала сеньора Ардевола, тот отчего-то стал чаще заходить в библиотеку и всегда спрашивал: как поживаешь, красавица? Но Карме все же скучала по своим подругам из школы, особенно по Пепите Масриере.

– Нет такого цвета – насыщенно-каштановый.

Лола Маленькая смотрела на Карме с иронией, ожидая ответа.

– Ладно. Красивый каштановый. Как темный мед. Эвкалиптовый.

– Он ровесник твоему отцу.

– Вот и нет! На семь с половиной лет моложе.

– Все, я молчу.

Сеньор Ардевол, несмотря на «чистку», все равно не доверял новой профессуре. Как и старой. Эти, конечно, уже не могли обсуждать его прошлое, потому что не знали о нем, но наверняка подумают: ты карабкаешься вверх по скользким камням, друг мой.

Феликс Ардевол желал бы избежать любых объяснений с теми, кто смотрел на него с вежливой иронией и молча ждал. Пока в один прекрасный день он не сказал самому себе: ну все, хватит! я не могу жить под дамокловым мечом! – и отправился на виа Лаэтана⁶¹, где выдохнул: профессор Мунтельс с кафедры палеографии.

– Как вы говорите?

– Профессор Мунтельс с кафедры палеографии.

– Мунтельс с кафедры палеографии, – медленно выводил буквы комиссар. – А зовут его?

– Элой. А вторая фамилия...⁶²

– Элой Мунтельс с кафедры палеографии, та-а-ак.

Кабинет комиссара Пласенсии выкрашен в буро-оливковый цвет, шкаф с картотекой проржавел, а на потрескавшейся стене висят портреты Франко и Хосе Антонио⁶³. Через

⁶¹ На этой улице находилось главное полицейское управление Барселоны.

⁶² У испанцев и каталонцев двойная фамилия, которая состоит из фамилии отца и фамилии матери.

⁶³ *Хосе Антонио Примо де Ривера* (1903–1936) – сын генерала Мигеля Примо

грязное оконное стекло можно было увидеть кусок виа Ла-этана. Но сеньору Феликсу Ардеволу некогда было разглядывать обстановку. Он писал полное имя доктора Элоя Мунтельса, чья вторая фамилия была Сиурана, – сотрудника кафедры палеографии, также когда-то учившегося в Григорианском университете и очень косо смотревшего на Ардевола, когда тот приходил к профессору Боску по своим тайственным делам.

– И как вы его охарактеризуете?

– Каталонист. Коммунист.

Комиссар присвистнул и сказал: ну-ну, ну-ну... И как это его до сих пор не сцапали?

Сеньор Ардевол ничего не ответил, поскольку вопрос был явно риторический и было бы нетактично говорить, что виной тому – плохая работа полиции.

– А ведь это второй преподаватель, о котором вы нам сообщаете. Не правда ли, странно? – Он постукивал карандашом по столу, словно посылал кому-то сообщение морзянкой. – Притом что вы сами – не сотрудник университета. Почему вы так поступаете?

– Потому что я – патриот. Да здравствует Франко!

Их будет больше. Трое или четверо. И все они были каталонисты и коммунисты. И все они приводили неопровержимые доказательства лояльности режиму и восклицали: коммунист? я? Но их «даздравствуетфранко», выкрикивае-

мое перед комиссаром, было абсолютно бесполезно, потому что тюрьма Модел работает без выходных и в нее без устали отправляют отщепенцев, не ценящих тех благ, что несет отечеству Каудильо, и упорствующих в своих заблуждениях. Своевременные доносы расчистили пространство вокруг профессора Боска, а тот ничего не замечал и служил источником информации для этого ловкого человека, которого так любил.

Вскоре после арестов профессоров кафедры Феликс Ардевол на всякий случай стал посещать профессора Боска не в его университетском кабинете, а дома, чему Карме Боск очень радовалась.

– Как поживаешь, красавица?

Девушка, чья красота расцветала день ото дня, отвечала улыбкой и опускала глаза, неизменно делая это так очаровательно, что ее взгляды стали для Феликса Ардевола самой захватывающей тайной, суть которой хотелось немедленно постичь. Почти так же страстно, как заполучить рукопись Гёте, не имевшую владельца.

– Сегодня я принес вам работу посложнее и лучше оплачиваемую, – сказал он, входя в кабинет профессора Боска.

И дедушка Адриа оценивал, подтверждал подлинность, получал гонорар и никогда не спрашивал: слушай, Феликс, откуда ты тащишь все это? Как, черт возьми, достаемь?

Вместо этого, пока тот доставал из портфеля очередные

раритеты, дедушка Адриа протирал пенсне. Потом рукопись оказывалась перед ним на столе и начиналось действо.

– Готический канцелярский курсив, – сказал профессор Боск, водрузив пенсне на нос и жадно глядя на страницы, выложенные Феликсом перед ним. Он взял их в руки и начал осматривать со всех сторон.

– Она не целая, – наконец произнес профессор.

– Четырнадцатый век?

– Да. Вижу, ты научился.

К тому времени Феликс Ардевол организовал целую сеть поиска разнообразных рукописей, папирусов, пергаментов – разрозненных и переплетенных, тех, что обычно пылятся в забвении на полках архивов, библиотек, институтов, мэрий и церковных приходов в различных уголках Европы. Молодой сеньор Беренгер – ловкий и пронырливый лазутчик – объезжал эти забытые богом уголки, оценивал – в первом приближении – возможную добычу и докладывал результаты по телефону (хоть это в те времена и было непросто). Получив добро, он платил сущие гроши владельцам документов, если нельзя было этого избежать, и передавал находку Ардеволу, который исследовал ее совместно с профессором Боском. Все оказывались в выигрыше – и документы, извлеченные из забвения, тоже. Однако лучше не говорить об этом. Никому. За эти десять лет было найдено немало ничего не стоящего мусора. Целая куча. Но иногда попадались и настоящие жемчужины, как, например, издание 1876 го-

да *L'après-midi d'un faune*⁶⁴ с иллюстрациями Мане, а среди страниц книги лежали листки, исписанные рукой самого Малларме – последнее созданное им – спавшее мертвым сном на чердаке ничтожной городской библиотеки в Вальвене. Или три целых пергамента и часть документов из канцелярии Иоанна II⁶⁵, чудесным образом обнаруженные на аукционе в Гётеборге. Каждый год находилось три-четыре таких жемчужины. Ради них-то и трудился Ардевол день и ночь. Постепенно в тишине огромной квартиры, которую он снимал в Эшампле⁶⁶, у него созрела идея открыть антикварный магазин, куда можно будет отдавать то, что истинной жемчужиной не является. Вслед за этим решением пришло и другое: скупать у наследников не только манускрипты. Стекло, фарфор, мебель, оружие, зонты, разную мелочовку – словом, все, чему много лет и что практически бесполезно. Вот так к нему в дом попал первый музыкальный инструмент.

Шли годы. Сеньор Ардевол, мой отец, продолжал приходить в дом профессора Боска, моего дедушки, которого я еще застану в младенчестве. Карме, моей маме, исполнилось двадцать два года. И однажды сеньор Феликс Ардевол сказал своему коллеге: я хочу поговорить о твоей дочери.

⁶⁴ «Полуденный отдых фавна» (*фр.*). Стихотворение Стефана Малларме, написанное в 1865 г., однако впервые изданное только в 1876 г.

⁶⁵ *Иоанн II Безверный* (1398–1479) – с 1458 г. король Арагона, Валенсии, Майорки, Сицилии и Наварры, граф Барселонский.

⁶⁶ *Эшампле* – престижный район Барселоны.

– А что с ней? – Профессор Боск, несколько встревоженный, снял пенсне и посмотрел на своего друга.

– Я хочу на ней жениться. Если у тебя нет возражений.

Профессор Боск поднялся и вышел в темную прихожую в полной растерянности, размахивая пенсне. Ардевол пошел за ним, отстав на несколько шагов. Профессор некоторое время нервно шагал вперед, потом повернулся и посмотрел на Ардевола, совершенно не замечая, что глаза у него насыщенно-каштанового цвета.

– Сколько тебе лет?

– Сорок четыре.

– А Карме должно быть восемнадцать или девятнадцать, самое большее.

– Двадцать два с половиной. Твоей дочери исполнилось двадцать два.

– Ты уверен?

Молчание. Профессор Боск нацепил на нос пенсне, словно хотел тщательно изучить возраст дочери. Он посмотрел на Ардевола, открыл рот, снял очки и с потерянным видом, словно обнаружив, что держит в руках папирус эпохи Птолемеев, сказал восхищенно: Карме двадцать два года...

– Да, исполнилось несколько месяцев назад.

В этот момент открылась входная дверь и вошли Карме с Лолой Маленькой. Дочь профессора удивленно посмотрела на двух мужчин, молча стоявших посреди прихожей. Лолой Маленькой исчезла, унеся корзину с покупками, а Карме,

пристально глядя на отца с гостем, сняла пальто и спросила:
– Что-то случилось?

5

Довольно долго я восхищался отцом, несмотря на его ужасный характер, и старался делать все, чтобы ему угодить. Особенно мне хотелось заслужить его одобрение. Он был груб, чрезвычайно талантлив и совсем меня не любил. Но я обожал его. Потому мне так тяжело говорить о нем. Тяжело не судить его. И не осуждать.

Один из тех редчайших случаев – если вообще не единственный, – когда отец сказал «очень хорошо, в твоих словах есть смысл». Я храню его в памяти, словно шкатулку с сокровищем. Потому что в остальных случаях мы все всегда были не правы. Я понимаю маму, которая наблюдала жизнь с балкона. Но я был маленьким и хотел быть в центре событий. Когда отец ставил передо мной невозможные задачи, то поначалу они казались мне исполнимыми. И тем не менее, строго говоря, я не выполнил ничего. Не стал юристом. Вместо того чтобы сделать карьеру, провел всю жизнь за учебой. Выучил десять или двенадцать языков, но не для того, чтобы бросить вызов падре Левински из Григорианского университета: учение давалось мне довольно легко и потому нравилось. У меня перед отцом остались невыполненные долги, так что я не жду, что он будет гордиться мной там, где сей-

час пребывает (где – не знаю, поскольку унаследовал от него неверие в вечную жизнь). Пожелания мамы, они всегда учитывались во вторую очередь, я тоже не выполнил. Точнее, не так. Я очень долго понятия не имел, что у нее были на меня какие-то планы, которые она вынашивала втайне от отца. Похоже, поскольку я был единственным ребенком в семье, родители желали вырастить из меня нечто необыкновенное. Так что мое детство можно описать так: высокая планка. Высокая планка во всем, включая требование есть с закрытым ртом и не класть локти на стол, а также не вмешиваться в разговоры взрослых. Правда, бывали дни, когда я не выдерживал, и ни шериф Карсон, ни Черный Орел не могли успокоить меня. Так что мне очень нравилось, если выдавалась возможность пойти с Лолой Маленькой по каким-нибудь делам в Готический квартал и ждать ее в магазине, глядя по сторонам во все глаза.

По мере того как я рос, меня все больше притягивал магазин: там я ощущал какую-то тревожную тайну. Дома мы для простоты говорим «магазин», хотя на самом деле это не просто магазин, а целый мир, уводящий далеко за стены дома. Дверь в него находится на улице Палья, перед фасадом заброшенной церкви, до которой нет дела ни канцелярии епископа, ни мэрии. Когда открываешь дверь, то звонит колокольчик, предупреждая о посетителе, – я и сейчас слышу этот звон. Тыходишь – и тут начинается праздник зрения и обоняния. Но, увы, не осязания. Адриа было строжай-

ше запрещено прикасаться к чему-либо (и это – тебе, с твоими «зрячими» пальцами, тебе, бедняге, нельзя ничего трогать). Ничего не трогать, ничего! – ты понял меня, Адриа? Что ж – он бродил по узким проходам, засунув руки в карманы, и рассматривал изъеденного жучком разноцветного ангела, стоящего возле позолоченного тазика Марии-Антуанетты. И гонг эпохи династии Мин, стойивший целое состояние, в который до смерти хотелось ударить.

– А это для чего?

Сеньор Беренгер посмотрел на японский кинжал, перевел взгляд на Адриа и улыбнулся:

– Это самурайский кинжал кайкен.

Адриа замирает с открытым ртом. Сеньор Беренгер оглядывается на Сесилию, протиравшую бронзовые сосуды, и говорит вполголоса, наклонившись к мальчику так, что тот ощущает его нечистое дыхание на своем лице:

– Этим кинжалом японские женщины-самураи совершали самоубийство. – Он делает паузу, чтобы посмотреть на реакцию Адриа, но тот просто стоит. Поэтому сеньор Беренгер сухо заканчивает: – Эпоха Эдо, шестнадцатый век.

Естественно, Адриа был чрезвычайно поражен этим рассказом, но в восемь лет – должно быть, мне было именно столько – я уже умел скрывать эмоции, как это делала мама, когда отец запирался в кабинете и рассматривал в лупу свои раритеты. И никто в доме не имел права шуметь, потому что отец читал, и поди знай, когда он выйдет к ужину.

– Нет. Пока он не подаст признаков жизни, не ставь овощи на огонь.

И Лола Маленькая уходила на кухню и бормотала под нос: хорошо устроился этот тип, весь дом от его лупы зависит. А если я был возле этого типа, то слышал, как он читал:

A un vassalh aragones. / Be sabetz lo vassalh qui es, / El a nom. N'Amfos de Barbastre. / Ar aujatz, senher, cal desastre / Li avenç per sa gilozia⁶⁷.

– Что это?

– *La reprensió dels gelosos*⁶⁸. Одна новелла.

– На старокаталанском?

– Нет. Это окситанский.

– Они похожи.

– Очень.

– А что значит *gelós*?⁶⁹

– Ее написал Рамон Видал де Безалу. В тринадцатом веке.

– Ничего себе, как давно! Что значит *gelós*?

– *Foli 132 del cançoner provençal de Karlsruhe*⁷⁰. Еще один экземпляр есть в Национальной библиотеке в Париже. А этот – мой. И твой.

⁶⁷ Один арагонский вассал, / Вы знаете, кто он, / Его зовут Амфос де Барбастре, / Я сейчас вам расскажу, какая ужасная история / Случилась с ним из-за ревности (*оксит.*).

⁶⁸ Наказание ревнивцам (*оксит.*).

⁶⁹ Ревнивый (*оксит.*).

⁷⁰ Фолио 132 из рукописного сборника старопровансальской поэзии из библиотеки Карлсруэ.

Адриа понял его слова как предложение и протянул руку. Отец немедленно ударил по ней – и очень больно. Даже не предупредил сначала: не трогай! Он смотрит сквозь лупу и говорит: как же мне сейчас удивительно везет.

Японский кинжал, которым женщины убивали себя, чрезвычайно впечатлил Адриа. Он продолжил бродить по магазину, пока не дошел до керамических горшков. Манускрипты и гравюры мальчик оставил напоследок, потому что особенно восхищался ими.

– Ну, когда ты придешь помогать? У нас тут много работы!

Адриа оглядел пустой магазин и улыбнулся Сесилии:

– Как только папа разрешит.

Она хотела что-то сказать, но передумала и несколько секунд стояла с приоткрытым ртом. Потом ее глаза заблестели, и Сесилия произнесла: ну-ка, поцелуй меня!

Пришлось ее поцеловать, чтобы не привлекать внимания. В прошлом году я был очень сильно в нее влюблен, но сейчас меня не интересовали поцелуи. Хотя было мне всего восемь, но я уже торжественно вошел в тот период, наступающий обычно лет в двенадцать-тринадцать, когда противны все эти нежности. Я всегда был ребенком, талантливым во второстепенных вещах. По моим прикидкам, мне тогда было лет восемь-девять. И длилась эта «антипоцелуйная лихорадка» у меня до... ну, ты и сама знаешь. Или, может, еще не знаешь. Кстати, что значит фраза «я начну свою жизнь с чисто-

го листа», которую ты сказала продавцу энциклопедий?

Несколько минут Адриа и Сесилия смотрели на людей, проходивших по улице, не обращая никакого внимания на витрину.

– Здесь всегда есть работа, – сказала Сесилия, словно угадав мои мысли. – Завтра разбираем библиотеку в одной квартире – то-то хлопот будет. – И снова принялась чистить бронзу.

Запах «Нетола» въедался Адриа до мозга костей, так что он счел за благо отойти. Отчего японские женщины совершали самоубийство – вот над чем он размышлял.

Теперь, из сегодняшнего дня, я понимаю, что не часто возился в магазине. Возился – это просто фигура речи. Особенно жаль, что я редко бывал в углу с музыкальными инструментами. Однажды, будучи уже постарше, я рискнул попробовать сыграть на скрипке, выставленной там. Но наткнулся на безмолвный взгляд сеньора Беренгера, и, клянусь, мне стало страшно. Никогда больше я не пытался сделать что-нибудь подобное. В том углу – помню, как сейчас, – лежали фискорны⁷¹, трубы и горны, дюжина скрипок, штук шесть виолончелей, пара виол и три спинета⁷², а еще гонг династии Мин, эфиопский барабан и нечто похожее на огромную застывшую змею, которая не издавала никаких звуков

⁷¹ *Фискорн* – каталонский духовой инструмент типа трубы.

⁷² *Спинет* – разновидность клавесина.

(как я потом узнал, это был серпент⁷³). Наверное, инструменты иногда продавались и покупались, поскольку их состав менялся. Однако я помню вот такой набор. В магазин заходили скрипачи из театра Лисеу, чтобы полюбоваться на инструменты. Они заводили разговоры о покупке, но тщетно. Отец не желал видеть среди своих клиентов музыкантов с вечно пустыми карманами: я рассчитываю на коллекционеров, они по-настоящему желают обладать предметами. И если не могут купить, то готовы украсть. Вот мои истинные клиенты!

– Почему?

– Потому что они платят ту цену, которую я назначаю, и довольны этим. А потом в один прекрасный день прибегают, высунув язык, потому что хотят еще.

Отец хорошо разбирался в таких вещах.

– Музыкант хочет иметь инструмент, чтобы играть на нем. Есть инструмент – он играет. Коллекционер не имеет, а обладает. У него может быть десять инструментов. Он держит их в руках. Или просто смотрит на них. И – счастлив. Коллекционеру нет нужды играть.

Отец был очень умен.

– Музыкант-коллекционер? Редкостная удача, да только я не знаю ни одного такого.

И тогда я доверительно сказал ему, что герр Ромеу невыносимо тосклив, как вечер воскресенья. Отец посмотрел

⁷³ *Серпент* – европейский духовой инструмент, известный с XVI в.

на меня так, словно дырку хотел просверлить. Даже сейчас, шестьдесят лет спустя, я, вспоминая об этом, чувствую себя не в своей тарелке.

– Что ты сказал?

– Что герр Ромеу...

– Нет. Невыносим как?

– Не знаю.

– Отлично знаешь!

– Как вечер воскресенья.

– Очень хорошо.

У отца всегда свои соображения. Он молчит, и мне кажется, что он спрятал мои слова в карман, словно экспонат своей коллекции. Внезапно отец возвращается к беседе.

– Чем же ты недоволен?

– Он все занятие требует повторять исключения в спряжениях и склонениях, которые я уже знаю, и заставляет говорить: этот коровий сыр очень хорош, где ты его купил? Или: я живу в Ганновере, и меня зовут Курт. А ты где живешь? Тебе нравится Берлин?

– Что ты хочешь этим сказать?

– Не знаю... Я хотел бы читать какую-нибудь занимательную историю... Хочу читать Карла Мая⁷⁴ по-немецки.

– Хорошо, в том, что ты говоришь, есть смысл.

Повторю: хорошо, в том, что ты говоришь, есть смысл.

⁷⁴ *Карл Фридрих Май* – автор популярных приключенческих романов в жанре вестерна.

И еще уточню: это был единственный раз в жизни, когда он признал, что в моих словах есть смысл. Был бы я фетишистом, написал бы эту фразу, пометил дату и время и сфотографировал.

На следующий день у меня не было урока немецкого, потому что герр Ромеу получил расчет. Адриа почувствовал себя очень важной персоной, раз мог вершить судьбы людей. Это был час триумфа. Тогда меня обрадовало, что отец обращается со всеми с позиции силы. Мне в то время было лет девять-десять, но у меня было очень развито чувство собственного достоинства. И чувство смешного. Из сегодняшнего дня Адриа Ардевол видит, что в детском возрасте ребенком он не был. Он отмечает все признаки преждевременного взросления, как обычно отмечают симптомы простуды и прочих болезней. Мне просто жаль – и все. А ведь я не знал тех деталей, которые сейчас могу сопоставить. Например, что к отцу, после того как он открыл свой магазин «с претензией», с красоткой Сесилией, явился некий клиент, желавший обсудить одно дело. А когда отец вошел в кабинет, то незнакомец сказал: сеньор Ардевол, я не собираюсь ничего у вас покупать. Отец посмотрел ему в глаза и насто-рожился:

- Могу я спросить, ради чего тогда вы пришли?
- Предупредить. Что ваша жизнь в опасности.
- Неужели? – Отец недобро улыбнулся.
- Да.

– А могу я спросить, с какой стати?

– Ну, например, потому, что профессор Мунтельс вышел из тюрьмы.

– Не понимаю, о чем вы говорите.

– И кое-что нам рассказал.

– Кому это «нам»?

– И мы весьма вами недовольны, поскольку вы ославили его как каталониста и коммуниста.

– Я?

– Именно вы.

– Это все пустая болтовня. У вас все? – сказал он, поднимаясь.

Посетитель и не подумал встать со стула. Напротив, он устроился поудобнее и с неожиданной ловкостью скрутил папиросу. И закурил.

– Тут не курят. Никто.

– А я – курю. – Посетитель указал сигаретой на отца. – Мы знаем также, что вы оговорили еще трех человек. Все они шлют вам привет – из дома или из тюрьмы. Так что теперь советую вам ходить по улице осторожно: там небезопасно.

Он затушил папиросу о столешницу, словно это была огромная пепельница, выдохнул дым в лицо сеньору Ардеволу, встал и вышел из кабинета. Феликс Ардевол смотрел на обугленное пятно на столешнице и не двигался. Будто его постигла кара.

Вечером дома, возможно, чтобы отвлечься от дурных новостей, отец разрешил мне войти в кабинет и, желая наградить меня (особенно за то, что ты впервые начал выбирать себе учителей, так и должен поступать мой сын), показал мне свернутый пергамент, исписанный с двух сторон. Это был акт об основании монастыря Сан-Пере дел Бургал. И сказал: смотри, сын (я хотел бы, чтобы вслед за этим «сын» он добавил «на которого я возлагаю надежды» – ведь теперь между нами крепкая связь), этот документ был написан более тысячи лет тому назад, а сейчас мы держим его в руках... Ну-ка, спокойно, его держу я. Правда, он прекрасен? Он посвящен основанию монастыря.

– А где этот монастырь находится?

– В Пальярсе. Помнишь картину в столовой?

– Где монастырь Санта-Мария де Жерри?

– Да, да. Бургал недалеко, еще выше. Километрах в двадцати выше в горах. – Смотрит на пергамент. – Акт о закладке Сан-Пере дел Бургал. Аббат Делигат просит графа Рамона Тулузского освободить от налогов и повинностей этот маленький монастырь, который потом успешно просуществовал не одну сотню лет. Потрясающее ощущение – держать в руках такую древнюю историю.

Я представляю все, о чем рассказывает отец. Мне это не сложно. День был слишком яркий, слишком весенний для Рождества. Они предали земле тело преподобного отца настоятеля Жузепе де Сан-Бартомеу на маленьком и скром-

ном кладбище в Сан-Пере. Та бурная жизнь, которую весна выталкивала и рассыпала тысячью разноцветных бутонов поверх влажной и мягкой травы, сейчас лежала мертвая, скованная льдом. Мы похоронили отца настоятеля, а вместе с ним — всякую возможность продолжать существовать обители. Раньше, когда еще снег падал в изобилии, Сан-Пере дел Бургал был свободным монастырем. С далеких времен аббата Делигата обитель познала разные времена. И расцвет, когда три десятка монахов созерцали величественный вид, открывавшийся на воды Ногеры и лес Позес вдаль, восхваляя величие Божие, и благодаря за дела Его, и кляня дьявола за холод, пронизывающий до костей и ослабляющий души насельников этой скромной общины. Знал Сан-Пере дел Бургал и злые времена, когда не было зерна, чтобы снести на мельницу, а трудились в нем лишь шесть или семь дряхлых и больных монахов, как и подобает инокам, с момента поступления в монастырь и до гробовой доски. Вот и отец настоятель завершил свой путь. И теперь только один человек хранил память обо всем этом.

Короткая и бесстрастная молитва, торопливое благословение убогого гроба — и священник волею обстоятельств, брат Жулиа де Сау, дал знак пяти крестьянам из Эскало, поднявшимся в монастырь, чтобы помочь совершить эту печальную церемонию. Монахи из аббатства Санта-Мария де Жерри так и не объявились засвидетельствовать закрытие монастыря. Они, как всегда, опаздывают. Особенно ко-

гда нужны.

Брат Жулиа де Сау вернулся в монастырь Сан-Пере. Со всем маленький. Он вошел в церковь. Со слезами на глазах взял молоток и долото, чтобы пробить отверстие в камне главного алтаря и вынуть небольшой деревянный ковчег с частицами мощей. Его охватила тоска: первый раз в жизни он остался один. Один. Ни одного брата рядом. Шаги отдавались гулким эхом в узком коридоре. Он заглянул в крохотную трапезную. Одна из скамей придвинута к стене так, что царапает грязную побелку. Поправлять ее нет смысла. По щеке брата Жулиа скатилась слеза. Он пошел в свою келью и погрузился в созерцание пейзажа, любимого всем сердцем, знакомого до каждого дерева. На топчане стояла дарохранительница, которая берегла в себе акт о закладке монастыря, а теперь и ковчег с мощами безвестных святых, что веками незримо присутствовали здесь во время месс и богослужений. А еще – чаша и патена. И два ключа: от церкви и от братского корпуса. Столько лет хвалебных гимнов во славу Господа свелись к крепкому деревянному ящику из можжевельника, ставшему отныне единственным свидетельством существования монастыря. На мешке с соломой, служившем матрасом, лежал кусок полотна, а в нем две смены белья, короткий шарф и часослов. И мешочек с семенами ели и клена, напоминавшие ему о другой, прежней жизни, по которой он совсем не тосковал. Тогда его звали

фра⁷⁵ Микел и он подвизался в ордене доминиканцев. Когда во дворце его преосвященства жена Косого из Салта остановила его около кухни и сказала: держите, фра Микел, тут семена ели и клена.

– Почему именно это?

– Потому что мне больше нечего вам дать.

– А зачем тебе что-то мне давать? – удивился фра Микел.

Женщина опустила голову и едва слышно сказала: его преосвященство обесчестил меня, и я хочу наложить на себя руки, чтобы муж ничего не узнал. Потому что иначе меня убьет он.

Оглушенный, фра Микел сделал несколько шагов и опустился на самшитовую скамью.

– Что ты такое говоришь? – обратился он к стоявшей перед ним женщине.

Та ничего не ответила, потому что уже сказала все, что хотела.

– Я тебе не верю, гнусная лгунья! Ты просто хочешь...

– А когда увидите меня подвешенной к потолочной балке – поверите? – Она посмотрела на него так, что стало страшно.

– Но дитя...

– Исповедуйте мои грехи, я хочу покончить с собой...

– Я не священник.

– Но вы ведь можете. У меня нет другого выхода. Только

⁷⁵ Фра – брат (кат.).

смерть. А раз моей вины тут нет, думаю, Господь простит меня. А, фра Микел?

– Самоубийство – грех. Вон отсюда! Сгинь!

– И куда же податься одинокой женщине? А?

Фра Микелу захотелось оказаться как можно дальше от этого места, на краю света, как бы страшно там ни было.

В келье Сан-Пере дел Бургал брат Жулиа смотрел на семена на своей ладони. Подарок от женщины, которой он не захотел даровать утешение. На другой день ее нашли повесившейся в большом сарае. На веревочных четках, которыми подпоясывал хабит его преосвященство, но пару дней назад потерял. По приказу его преосвященства самоубийцу запретили хоронить в освященной земле, а Косого из Салта выгнали из епископского дворца, ибо не уследил за женой, повинной в преступлении против Неба. Ее обнаружил сам Косой и попытался разорвать четки в безумной надежде, что она еще дышит. Когда фра Микелу рассказали об этом, он горько заплакал и стал молиться – вопреки запрету – за спасение души этой несчастной. Тогда же он поклялся перед лицом Господа, что навсегда сохранит эти семена, чтобы они напоминали о его трусливом молчании. И вот сейчас, двадцать лет спустя, он вновь держит их на ладони, когда его жизнь снова сделала поворот и он превратился в монаха монастыря Санта-Мария де Жерри. Жулиа де Сау спрятал мешочек в карман бенедиктинского хаBITS. Он смотрел в окно. Возможно, братья из Жерри уже близко, но глаза у него

уже не те, чтобы различить движение на таком расстоянии. С этой ночи в монастыре Бургал больше не будет монахов.

Взяв поудобнее дарохранительницу, Жулиа де Сау прошел по всем кельям – фра Марсела, фра Марти, фра Адриа, отца Рамона, отца Базили, отца Жузепа де Сан-Бартомеу, своей собственной, – потом по коридору в келью возле крохотного внутреннего дворика, которая ближе всего к монастырским воротам (ему было назначено послушание привратника, когда он пришел сюда). Затем мимо бассейна с водой для хозяйственных нужд, через скромный зал капитула и кухню – снова в трапезную, где скамья так и стояла криво. Его охватило чувство вины, он вышел во двор и сотрясся от беззвучного рыдания, ибо не мог он принять, что это все есть воля Божия. Тогда, чтобы успокоиться и проститься должным образом с годами жизни монаха-бенедиктинца, Жулиа де Сау вошел в капеллу. Он преклонил колени перед алтарем, крепче сжав дарохранительницу. Последний раз в жизни обвел взглядом роспись апсиды. Пророки и архангелы. Святые Петр и Павел, святой Иоанн и остальные апостолы, Богоматерь, воздающие славу суровому Спасу Вседержителю. И почувствовал себя виноватым, повинным в гибели маленького монастыря Сан-Пере дел Бургал. Свободной рукой он стукнул себя в грудь и произнес: *confiteor, Domine. Confiteor, mea culpa*⁷⁶. Он поставил дарохранительницу и поцеловал пол, по которому ступало столько поколений мона-

⁷⁶ Каюсь, Господи. Каюсь, моя вина (*лат.*).

хов, восславлявших Господа Всемогущего, бесстрастно глядящего на них.

Жулиа де Сау встал с колен, взял дарохранильницу и попытался к двери, последний раз любуясь алтарными росписями. Выйдя наружу, монах захлопнул створки дверей, сжал ключ в кулаке, подержал – и опустил в дарохранильницу. Эти удивительные фрески в церковной апсиде предстали человеческому взору, лишь когда Иаким из Пардака открыл изъеденные жучком двери простым ударом руки. Почти через триста лет.

А брат Жулиа де Сау вспоминал тот день, когда он, усталый, голодный и напуганный, пришел к дверям Сан-Пере и постучал в калитку. Тогда в монастыре жили пятнадцать монахов. Господи Боже, Царь Славы, как же он тосковал по тому времени, хоть и не имел права печалиться о том, что больше не вернется. Тогда тут было дело для каждого и каждый был при деле. Когда он постучал в калитку в надежде найти здесь убежище, он уже несколько лет жил в беспокоействе и страхе, которые вечно сопутствуют беглецам. А еще – мучился, что мог ошибиться, потому что Иисус говорил о любви и добре, а я не исполнил Его заповедей. Хотя нет, исполнил, ведь отец Николау Эймерик⁷⁷, Великий инквизитор, его приор, все делал во имя Господа и блага Свя-

⁷⁷ *Николау Эймерик* – каталонский инквизитор (ок. 1320–1399), доминиканский монах. В 1356 г. был назначен Великим инквизитором Арагонского королевства. Король Иоанн Арагонский изгнал Эймерика из своих владений за чрезмерную жестокость.

той Церкви и истинной веры, а я не смог, не смог, ибо Иисус оставил меня. Да кто вы такой, фра Микел, дурак и недоучка, чтобы спрашивать, где Иисус? Господь Бог наш – в слепом безусловном послушании. Бог – со мной, фра Микел. А кто не со мной, тот против меня. Смотрите мне в глаза, когда я говорю! Кто не со мной, тот против меня! И фра Микел предпочел нечистой совести – бегство, предпочел выбрать неопределенность и, быть может, адское пламя вместо спасения души. Так он и поступил: снял хабит доминиканца, ступил в царство страха и блуждал по Святой земле в надежде замолить свои грехи, если им можно обрести прощение – в этом или том мире. Ибо он грешен. Надев рубище пилигрима, фра Микел видел много несчастий, скитался, побуждаемый раскаянием, давал трудноисполнимые обеты, но не мог обрести покоя, ибо коли не послушаешься гласа спасения, то душа твоя не познает никогда отдохновения.

– Ради всего святого, ты можешь не хватать все руками?

– Но папа... Я только прикоснусь разок. Ты ведь сказал, что он и мой тоже.

– Только одним пальцем! И очень осторожно!

Адриа, затаив дыхание, тронул пергамент. Ему показалось, что он перенесся в монастырь.

– Все, довольно! Убери руки!

– Ну пожалуйста, еще чуть-чуть!

– Ты не понимаешь? Тебе ясно сказали: довольно! – повысил голос отец.

Я отдергиваю руку, словно пергамент ударил меня током. И потому, вернувшись из странствия по Святой земле – с состарившейся душой, ссохшимся телом, почерневшим лицом и взглядом тверже алмаза, бывший доминиканский монах все еще носил ад. Он не нашел в себе смелости вернуться в родительский дом и решил скитаться по дорогам в одежде пилигрима, прося милостыню и растрачивая ее по придорожным кабакам на самое дешевое и ядовитое пойло, чтобы поскорее сгинуть и утратить память. Словно одержимый, он впал в плотские грехи, ища в них забвения и искупления, которых не давало покаяние. Стал проклятой душой. Пока доброжелательная улыбка брата Жулиа из Каркассона, привратника аббатства бенедиктинцев в Лаграсе, где он попросился на ночевку в одну особенно холодную зиму, неожиданно не осветила ему путь. Одна ночь внезапно превратилась в десять дней поста и молитвы в церкви аббатства, на коленях у самой дальней стены, в стороне от братии. В Санта-Мари де Лаграс⁷⁸ он впервые услышал о Бургале, крохотном монастыре, настолько далеко от всего, что, говорят, даже дождь с трудом добирается до него и, обессилев, роняет лишь пару капель. Фра Микел сохранил, как потаенное сокровище, в своем сердце улыбку брата Жулиа, обещавшую, что счастье возможно. С тем и отправился в первый раз в Санта-Марию де Жерри, следуя совету монахов из Лаграса. С мешком

⁷⁸ *Аббатство Святой Марии в Лаграсе* – бенедиктинский монастырь на юге Франции, известный с VIII в.

провизии за плечами, собранной для него бенедиктинцами, и счастливой потаенной улыбкой в сердце он пошел туда, где горы покрыты снегом круглый год, в мир безграничного безмолвия, где, возможно, если повезет, сможет обрести искупление. Он пересекал равнины, взбирался на холмы, шагал рваными сандалиями по ледяной воде рек, берущих начало в снегах. Когда он добрался до аббатства Санта-Мария де Жерри, его уверили, что приорат Сан-Пере дел Бургал так труднодоступен и удален от мира, что никто не поручится, что путник сможет туда добраться. И что решит насчет его отец настоятель там, то здесь аббат подтвердит.

Итак, после долгого-долгого странствия, превратившего его в старика (а ведь ему еще не было и сорока), он громко постучал в ворота монастыря Сан-Пере. Был холодный и темный вечер. Монахи отслужили вечерню и сели за трапезу, если миску горячей воды можно считать едой. Его впустили и спросили, чего он хочет. Он сказал, что просит принять его в общину. Он не стал объяснять, что с ним произошло, лишь сообщил, что желает служить Святой матери-Церкви как простой безвестный работник. Подобно самому незначительному слуге в доме, который виден лишь оку Господа Бога нашего. Отец Жузеп де Сан-БартOMEУ, уже в то время бывший настоятелем, испытующе посмотрел ему в глаза и узрел секрет его души. Тридцать дней и ночей провел бывший фра Микел у дверей монастыря в самодельном шалаше. Он просил об убежище, а это означало – хабит и жизнь

по монашескому правилу святого Бенедикта, которое меняет людей, его принявших, и дарует душевный мир. Двадцать девять раз умолял он разрешить ему стать монахом и двадцать девять раз отец настоятель, глядя ему в глаза, говорил «нет». Пока в одну дождливую и счастливую пятницу не попросил об этом же снова. Тридцатый раз.

– Не стучись сюда, сучье отродье, убери руки!

Терпение отца настоятеля было на исходе.

– Но я всего лишь хочу...

– Хочешь-перехочешь! А подзатыльник не желаешь, а?

С той пятницы немало воды утекло. Его приняли в Бургал послушником. Три ледяных зимы он выполнял работу простого послушника. И стал с того времени Жулиа – в память об улыбке, которая изменила его жизнь. Он начал учиться тому, как принять мир в душу, успокоить дух и полюбить жизнь. Временами люди герцога де Кардоны или графа Уго Роже проносились по долине и разрушали все, что им не принадлежало, но монастырь был от всего этого далеко, Господь и Его мир были в стороне. Жулиа твердо и непоколебимо делал свои первые шаги к мудрости. Ощущение счастья к нему не пришло, но появилось чувство покоя, оно приблизило его к внутреннему равновесию и научило улыбаться. Потому часть братии пришла к мысли, что смиренный брат Жулиа встал на путь святости.

Солнце поднялось высоко, но не грело. Братья из Санта-Марии де Жерри так и не появились: видимо, решили за-

ночевать в Солере. Солнце здесь было слишком слабо, казалось, Бургал вобрал в себя весь холод мира. Крестьяне из Эскало давно ушли и даже не попросили денег за работу. Он запер ворота большим ключом, с которым столько лет не расставался, будучи братом-привратником, и который теперь должен был передать в аббатство. *Non sum dignus*⁷⁹, повторил он, пряча ключ – свидетель пяти столетий жизни монастыря Бургал. Он остался снаружи и присел под ореховым деревом – один, с дарохранильницей в руках, ожидая братьев из Жерри. А если они захотят провести ночь в монастыре? Бенедиктинский устав однозначно предписывает, что никто из монахов не может жить в монастыре один. Потому отец настоятель, почувствовав, что заболел, послал в аббатство Жерри, дабы там приняли меры, подobaющие случаю. Вот уже восемнадцать месяцев они были единственными монахами в Сан-Пере дел Бургал. Отец настоятель служил мессу. Он усердно молился, оба читали часы, но уже не пели, потому что чирикание воробьев заглушало их слабые и немзыкальные голоса. Прошлым днем после двух суток сильнейшей лихорадки достопочтенный отец настоятель скончался, он вновь остался один. *Non sum dignus*. Кто-то поднимался по узкой тропке от Эскало. По другой тропинке – от Эстарона – зимой идти было нельзя. Нако-

⁷⁹ Господи, я недостойн (*лат.*) – «...чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и исцелится душа моя» – молитва перед причастием во время мессы.

нец-то. Он встал, отряхнул хабит и сделал несколько шагов навстречу, крепче обхватив дарохранительницу. Остановился: может, следует отпереть монастырские ворота в знак гостеприимства? Он, хотя и получил наставления от отца настоятеля перед смертью, толком не знал, что нужно делать, когда закрываешь обитель после стольких лет ее жизни. Братья из Жерри поднимались медленно, у них был усталый вид. Три монаха. Он обернулся, чтобы со слезами на глазах попрощаться с монастырем, и начал спускаться, дабы встретить братьев в конце тропинки. Двадцать два года в Бургале, вдали от воспоминаний, умерли в этом символическом повороте головы. Прощай, Сан-Пере; прощайте, овраги с поющей водой ледяных ручьев; прощайте, горы, покрытые снегом, дарившие мне покой; прощайте, братия монастыря и века славословий и молитв.

– Братья, да пребудет с вами мир в сей день Рождества Господня!

– Мир Господа нашего да будет и с тобой!

– Мы уже предали тело земле.

Один из братьев откинул с лица капюшон. Благородной лепки лоб библейского пророка – быть может, отец эконом или наставник новициев⁸⁰. Монах улыбнулся ему той улыбкой, которая в свое время перевернула его жизнь в Лаграссе. Однако под плащом у незнакомца оказался не монашеский хабит, а рыцарская кольчуга. Его спутниками были фра Ма-

⁸⁰ *Новиций* – в католичестве: человек, готовящийся к принятию монашества.

теу и фра Маур из Жерри.

– Кто умер? – спросил рыцарь.

– Отец настоятель. Усопший – отец настоятель. Разве вас не предупредили, что...

– Как его звали? Кто это?

– Жузеп де Сан-БартOMEу.

– Слава Богу! Вы, должно быть, фра Микел из Сускеды?

– Брат Жулиа. Так меня зовут. Брат Жулиа.

– Фра Микел. Еретик-доминиканец.

– Ужин на столе.

Лола Маленькая стояла на пороге кабинета. Отец поморщился и, не обращая внимания на сообщение, продолжил читать высоким голосом статьи акта об основании монастыря. Словно это был ответ на слова Лолы Маленькой:

– Теперь читай то, что осталось.

– Но это такой сложный текст...

– Читай! – повторил отец, раздосадованный и разочарованный тем, что у него не сын, а размазня.

И Адриа продолжил читать – на хорошей средневековой латыни – творение аббата Делигата. Читал, не понимая смысла и не переставая размышлять об истории, разворачивающейся в его голове.

– Хорошо. Имя фра Микел я носил в иной жизни. Орден Святого Доминика уже давно весьма далек от моих мыслей. Я – другой человек, новый. – Он смотрел им в глаза так же испытующе, как когда-то отец настоятель. – Чего вы хотите,

братья?

Незнакомец с благородным лбом упал на колени и в короткой молитве вознес благодарность Господу, после чего истово перекрестился. Трое монахов тоже сотворили крестное знамение. Мужчина поднялся с земли:

– Мне стоило большого труда найти вас. Святой отец инквизитор поручил мне привести в исполнение приговор по обвинению вас в ереси.

– Вы что-то путаете.

– Сеньоры, братья, – подал голос один из монахов (возможно, фра Матеу), теряя терпение, – мы пришли, чтобы забрать ключи от обители и монастырскую дарохранительницу, а также чтобы проводить брата Жулиа в Жерри.

Брат Жулиа, спохватившись, передал ему дарохранительницу, которую все еще сжимал в руках.

– Вам нет нужды сопровождать его, – сухо сказал незнакомец. И повернулся к брату Жулиа. – Я ничего не путаю, вы прекрасно знаете, кто и за что вас приговорил.

– Меня зовут Жулиа де Сау, и, как видите, я монах-бенедиктинец.

– Фра Николау Эймерик вынес вам приговор. Он повелел мне назвать вам его имя.

– Вы ошибаетесь.

– Фра Николау Эймерик уже давно мертв. Но я пока еще жив. И наконец могу дать отдых своей душе, лишенной покоя. Во имя Господа.

И на глазах перепуганных братьев из Жерри в свете слабого зимнего солнца последний монах Сан-Пере дел Бургал, другой человек, новый, потративший столько лет на обретение душевного покоя, получил от человека с благородным лбом удар кинжалом в грудь. Тот вложил в этот удар всю накопленную ненависть. И, следуя предписанию святой инквизиции, тем же самым кинжалом благородный рыцарь отсек ему язык и положил в шкатулку слоновой кости, которая сразу окрасилась красным. Затем, вытирая сталь листьями ореха, объявил двум испуганным монахам:

– Этот человек не имеет права лежать в освященной земле.

Он обвел окрестность холодным взглядом. И кивком показал в другую сторону от обители:

– Там. И никакого креста! Такова воля Божия!

Видя, что монахи так и стоят, скованные ужасом, человек с благородным лбом встал перед ними, едва не наступив на неподвижное тело фра Жулиа, и презрительно бросил:

– Заройте эту падаль!

Дочитав до конца – до подписи аббата Делигата, отец бережно сложил документ и сказал:

– Прикасаясь к таким пергаментам, словно прикасаешься к самой эпохе, тебе не кажется?

И я дотронулся до пергамента. Теперь у меня ныли от боли все пять пальцев. Удар, полученный от отца, был очень болезненный и унижительный. Пока я пытался справиться

с подступившими слезами, отец совершенно невозмутимо отложил лупу и спрятал древний документ в сейф.

– Ужинать! Шевелись! – скомандовал он. Вот и все, никакого дружеского союза с сыном, научившимся читать на средневековой латыни.

Прежде чем мы дошли до столовой, я успел утереть пару предательских слезинок.

6

Родиться в этой семье было непростительной ошибкой, да. А ведь еще не случилось ничего действительно серьезно-го.

– Ну а мне нравился герр Ромеу.

Думая, что я сплю, они говорили, не понижая голоса.

– Ты не знаешь, о чем говоришь!

– Конечно! Я же вообще ничего не знаю. Знаю только, как тащить на себе весь дом.

– Я всем жертвую ради Адриа!

– Неужели? А что делаю я? – ироничный, холодный голос мамы. И, несколько сбавив тон: – Будь так любезен – не кричи!

– Это ты кричишь!

– Я ничем не жертвую ради сына, да?

Тяжелая, плотная тишина. Отец напряженно думает.

– Ты тоже, конечно.

– Спасибо, что признал это.

– Это само собой разумеется, к чему еще говорить?

Я взял шерифа Карсона, подозревая, что мне понадобится надежная психологическая поддержка. А еще позвал Черно-го Орла – на всякий случай. Рассерженные голоса стихли, и я приоткрыл дверь своей комнаты. Похоже, совершать опасное путешествие на кухню за пустым стаканом не придется. Теперь стало слышно лучше. Черный Орел поздравил меня с удачной идеей. Шериф Карсон молча жевал то, что я считал жевательной резинкой (но это был табак, конечно).

– Это неплохо, что он учится играть на скрипке, весьма неплохо.

– Ты что, ищешь оправдания для моей жизни?

– Что ты такое говоришь, женщина?

– Это неплохо, что он учится играть на скрипке, весьма неплохо. – Мама, передразнивая отца, подчеркнуто преувеличивала. Но мне это нравилось.

– Ладно, раз так, то долой скрипку и пусть займется серьезными вещами.

– Если ты отнимешь у мальчика скрипку, будешь иметь дело со мной.

– Не смей угрожать мне!

– А ты – мне!

Тишина. Карсон сплюнул на землю, и я молча погрозил ему.

– Мальчик должен учиться по-настоящему важным ве-

щам.

– Да? И что же это за вещи?

– Латынь, греческий, история, немецкий и французский. Для начала.

– Мальчику всего одиннадцать лет, Феликс!

Одиннадцать лет. Мне кажется, что раньше я тебе говорил, что мне было восемь или девять. Время скользит в моих воспоминаниях. Хорошо, что мама ведет ему счет. Знаешь, в чем дело? У меня нет ни времени, ни желания исправлять такие ошибки. Я пишу быстро, будто снова молод; в молодости я всегда писал очень быстро. Однако причина моей торопливости теперь иная. Что вовсе не значит, будто я пишу второпях. И мама повторила:

– Мальчику только одиннадцать лет, и он учит французский в школе.

– J'ai perdu la plume dans le jardin de ma tante⁸¹ – это не французский.

– А какой? Еврейский?

– Он должен читать Расина.

– Господи боже мой!

– Бога не существует. Да и латынь он мог бы знать лучше. Чему его учат у иезуитов, черт возьми!

Это меня встревожило, поскольку касалось напрямую. Ни Черный Орел, ни шериф Карсон не произнесли ни звука. Они-то никогда не ходили в школу отцов иезуитов на улице

⁸¹ Я потерял перо в саду своей тети (фр.).

Касп. Я не знал, плохо это или хорошо. Однако из слов отца выходило, что латынь там преподают неважно. В чем-то он был прав: мы застряли на втором склонении, от которого уже всех тошнило, потому что в школьном возрасте не понимаешь глубокого смысла ни родительного, ни дательного падежа.

– И что ты теперь хочешь предложить?

– Что ты думаешь про *Liceu Francès*?⁸²

– Нет, мальчик не уйдет из школы. Феликс, он всего лишь ребенок! Мы не можем растить его, словно породистое животное, как твой брат растит скот у себя в деревне.

– Хорошо, считай, я ничего не говорил. Ты всегда все поворачиваешь по-своему! – солгал отец.

– А спорт?

– Это да. У иезуитов достаточно спортивных площадок, так?

– И музыка.

– Ладно-ладно. Но то, что действительно важно, должно быть на первом месте. Адриа должен быть лучшим учеником и получить высший итоговый балл. Я поищу замену Казалсу.

С другим преподавателем, заменившим уволенного герра Ромеу, пять невыносимых занятий мы буксовали в сложнейшем немецком синтаксисе и никак не могли из него выбраться.

– Не нужно. Дай ему вздохнуть спокойно!

⁸² Французский лицей (*фр.*).

Через пару дней мама сидела в кабинете на диване, за которым было мое секретное укрытие, а отец поставил меня навтыжку возле своего стула и подробно рассказал, какое будущее меня ожидает. Слушай меня как следует, потому что я не буду повторять два раза: поскольку я – способный мальчик, то нужно максимально полно использовать то, что мне дано. И если школьные Эйнштейны не видят моих способностей, то он пойдет и лично объяснит им, что к чему.

– Меня удивляет, что ты не стал еще более невыносимым, – сказала ты мне однажды.

– Почему? Потому что меня называли умным? Я знаю, какой я. Это все равно как если ты высокий, или толстый, или брюнет. Меня это никогда не волновало. Так же как мессы и прочие религиозные церемонии, которые я выносил с терпением святого. А вот на Берната они производили впечатление. Мне кажется, я еще тебе о нем не рассказывал.

И вот отец вытащил кролика из шляпы:

– Теперь ты начнешь серьезно, как следует учить немецкий с настоящим преподавателем. Никаких Ромеу, Казалсов и прочей ерунды.

– Но я...

– Также всерьез начнешь изучать французский.

– Но, папа, я бы хотел...

– Ты ничего не хочешь! И я предупреждаю тебя, – он поставил на меня указательный палец, словно пистолет, – затем будет арамейский.

В поисках поддержки я посмотрел на маму, но та сидела опустив взгляд, словно ее больше всего на свете интересовал рисунок плитки на полу. Оставалось только одно – защищаться в одиночку. Я крикнул:

– Но я не хочу учить арамейский! – Это было неправдой. Но если бы я сказал, что хочу, то отец придумал бы мне еще больше заданий.

– Еще как хочешь! – Голос тихий, холодный, непреклонный.

– Нет.

– Это не обсуждается.

– Я не хочу учить арамейский. И никакой другой!

Отец положил ладонь на лоб, словно его мучила невыносимая мигрень, и сказал, глядя в стол, почти шепотом: я пожертвовал всем ради тебя, чтобы ты стал самым блестящим учеником, равного которому еще не было в Барселоне, а ты как меня благодаришь? – Тут его голос взлетел до крика: – Вот этим «я не хочу учить арамейский»??? – И снова шепотом: – А?

– Я хочу учить...

Молчание. Мама подняла голову. Все ждали. Карсон, раздраемый любопытством, зашевелился в кармане. Я не знал, что хочу учить. Я знал одно – не хочу, чтобы мне часами что-то вдалбливали в голову. Несколько секунд я мучительно размышлял и в конце концов сказал наобум:

– В общем, я хочу быть врачом.

Молчание. Родители растерянно переглядываются.

– Врачом?

Отец мысленно представляет мою будущую карьеру врача. Мама, сдается мне, тоже. Я, вспомнив, что от одного вида крови меня тошнит, понимаю, что совершил большую ошибку. Отец после некоторого размышления приставил стул к столу и продолжил свою нотацию:

– Нет и еще раз нет. Ни врачом, ни монахом. Ты станешь выдающимся знатоком классической филологии. И точка.

– Отец!

– Давай, сын, у меня много работы. Иди пошуми немного своей скрипкой.

А мама так и смотрела в пол, усердно разглядывая цветные керамические плитки на полу. Предательница.

Адвокат, врач, архитектор, химик, инженер-строитель, стоматолог, промышленный инженер, инженер-оптик, фармацевт, фабрикант, банкир – вот те профессии, которые, по мысли всех родителей, подходят их детям.

– Ты несколько раз говорил, что хочешь быть адвокатом.

– Потому что это единственная приемлемая карьера из тех, что как-то связаны с гуманитарными науками. Но дети мечтают чаще о профессии угольщика, маляра, столяра, фонарщика, плотника, авиатора, пастуха, футболиста, ночного сторожа, альпиниста, садовника, машиниста, парашютиста, водителя трамвая, пожарного и папы римского.

– Но мой отец никогда не говорил: сын мой, когда вырастешь, ты станешь выдающимся ученым-эрудитом.

– Никогда. Однако у меня дома все вели себя странно, как, впрочем, и у тебя.

– Н-да. – Он произнес это так, будто рассказал о каком-то непростительном дефекте и ему не хотелось вдаваться в детали.

Шли дни, и мама молчала, словно затаилась и ждала чего-то. А у меня появился новый – уже третий – преподаватель немецкого, герр Оливерес: молодой человек преподавал в иезуитской школе, но не отказывался от возможности подработать. С герром Оливересом, который вел занятия со старшими, я познакомился сразу же, потому что он дежурил (подозреваю, за пару песет) по четвергам вечером в классе для наказанных за опоздание. И пока мы отбывали повинность, проводил время за книгами. У него была своя, основательная, методика преподавания языка.

– Eins.

– Ains.

– Zwei.

– Sbai.

– Drei.

– Draï.

– Vier.

– Fia.

- Fünf.
- Funf.
- Nein: fünf.
- Finf.
- Nein: füüüünf.
- Füüüünf.
- Sehr gut!

Он немедленно заставил меня забыть о времени, напрасно потраченном с герром Ромеу и герром Казалсом, выявив самую суть немецкого языка. Меня очаровывали две вещи: что лексика в немецком совсем не походила на романскую и потому была для меня чем-то совершенно новым и что здесь, как в латыни, есть склонения. Герра Оливереса радовал мой интерес. Я просил его давать мне домашние задания по синтаксису. Мне всегда было интересно вникать в сущность языка. Спросить, который час, можно и так, и так, и так – разными способами. И да, мне нравилось учить языки.

– Как прошел урок немецкого? – нетерпеливо спросил меня отец после первого занятия с герром Оливересом.

– Aaaalso, eigentlich gut⁸³. – Я сказал это с таким видом, будто мне все равно. Я краем глаза посмотрел на отца и увидел, что он улыбается. И почувствовал себя вознагражденным, потому что не помню, чтобы в этом возрасте мне уда-

⁸³ Нуууу, в сущности, хорошо (*нем.*).

валось чем-то удивить отца.

– Тебе почти никогда это не удавалось.

– Мне не хватало времени.

Герр Оливерес оказался человеком интеллигентным, скромным, говорил очень тихо, вечно был плохо выбрит, втайне от всех писал стихи, а еще курил вонючие папиросы, но язык знал как родной. Уже на втором уроке мы учили schwache Verben⁸⁴. А на пятом проходили (с необходимыми предосторожностями, подобно тому как тайком предлагают посмотреть порнографические открытки) один из Hymnen⁸⁵ Гёльдерлина. Отец хотел, чтобы герр Оливерес устроил мне экзамен по французскому, дабы проверить меня как следует. Герр Оливерес так и сделал, после чего сказал, что нагружать меня еще больше французским не надо, потому что у меня и так хороший школьный уровень. И я от радости заскакал... А английский вы знаете, мистер Оливерес?

Да, родиться в этом семействе было ошибкой по многим причинам. Меня очень расстраивало, что отец помнил обо мне лишь то, что я его сын. Хорошо еще, что он заметил, что я – мальчик. А когда мы с отцом о чем-то спорили, мать молча рассматривала кафельные плитки на полу. По крайней мере, так мне казалось. Спасибо, что у меня были Карсон и Черный Орел. Они всегда были на моей стороне.

⁸⁴ Слабые глаголы (нем.).

⁸⁵ Гимны (нем.).

Было уже довольно поздно. Трульолс все возилась с группой учеников, и казалось, не закончит никогда. А я ждал. Рядом со мной сел какой-то мальчик. Он был выше меня, а еще у него уже наметился пушок над верхней губой и на ногах появились отдельные волоски. Ого, значит, здорово старше меня. Мальчик держал скрипку так, словно хотел обнять, и смотрел в другую сторону, отвернувшись от меня. Адриа сказал: привет!

– Привет, – ответил Бернат, по-прежнему глядя в другую сторону.

– Ты к Трульолс?

– Ага.

– Первый год?

– Третий.

– Я тоже. Пойдем вместе. Можно взглянуть на твою скрипку?

В то время благодаря отцу мне большее удовольствие доставлял скорее сам инструмент, чем музыка, из него извлекаемая. Но Бернат посмотрел на меня с недоверием. На несколько секунд я было решил, что у него в футляре – Гварнери и он не хочет его показывать. Я открыл футляр, где лежала моя скрипка: темного, почти коричневого цвета. А вот звук у нее был самый обычный. Тогда он раскрыл свой

футляр. Я сказал, подражая сеньору Беренгеру:

– Франция, начало века, – и, глядя ему в глаза: – Из тех, что посвящены мадам д'Ангулем.

– Откуда ты знаешь? – выдохнул пораженный Бернат, вытаращив глаза.

С того дня Бернат начал искренне восхищаться мной. По самой глупой причине: потому что я легко запоминал предметы и мог их оценивать и классифицировать. Да, твой отец помешан на таких вещах. Но ты-то как все это знаешь?

– По лаку, форме, виду...

– Брось, все скрипки одинаковые!

– Да что ты говоришь? У каждой скрипки своя история. Эта скрипка – не твоя.

– Еще как моя!

– Вовсе нет. Она принадлежит миру. Вот увидишь.

Мне сказал об этом однажды отец, держа в руках Сториони. Он протянул мне ее с явным сожалением и произнес, не отдавая себе отчета в удивительности слов: смотри – осторожно! Эта вещь – единственная в мире! Сториони лежала у меня в руках, словно живая. Мне показалось, что я чувствую, как едва заметно бьется у нее пульс. Отец, блестя глазами, произнес: подумай только – мы понятия не имеем, при каких обстоятельствах родилась эта скрипка, в каких залах и домах звучала, какие радости и горести помогала выразить скрипачам, прикасавшимся к ней смычками. И о раз-

говорах, ею слышанных. О музыке, на которую вдохновляла... Я уверен, она могла бы поведать массу занимательнейших историй, – закончил отец с той долей цинизма, чье присутствие я еще не научился воспринимать.

– Разреши мне поиграть на ней, папа.

– Нет. Пока не закончишь восьмой класс. Тогда она станет твоей. Слышишь меня? Твоей.

Клянусь, что у Сториони, когда прозвучали эти слова, участился пульс. Я не мог определить – от радости или от страха.

– Знаешь что... как я тебе уже сказал... знаешь, она – живое существо, у которого есть свое собственное имя... как у тебя или у меня.

Адриа смотрел на отца с несколько отсутствующим видом, словно решал внутри себя, насколько тот серьезно говорит.

– Свое собственное имя?

– Да.

– И как ее зовут?

– Виал.

– Что это значит – Виал?

– А что значит – Адриа?

– Ну... Адриани – это фамилия римской семьи, родом из Адрии, что на побережье Адриатики⁸⁶.

⁸⁶ Адрия (*ит. Adria*) – город в Италии, расположен в регионе Венето. В древности это был самый значительный порт на севере Адриатики, который дал имя

– Я не об этом!

– Но ты спросил, что зна...

– Да, да, да... Короче, ее зовут Виал. И точка.

– Но почему ее так зовут?

– Знаешь, что я понял, сын мой?

Адриа смотрел на отца удивленно, почти испуганно: он не знал ответа и не хотел его получить. Он был слаб и тщательно скрывал это.

– Что ты понял?

– Что эта скрипка не принадлежит мне. Это я принадлежу ей. Я – один из многих в ее жизни. За свою длинную жизнь Сториони обладала множеством различных музыкантов, служивших ей. Сейчас она моя, но я могу лишь созерцать ее. Именно поэтому я так хочу, чтобы ты научился играть на скрипке и стал новым звеном в длинной жизни этого инструмента. Лишь поэтому ты берешь уроки музыки. Лишь поэтому, Адриа. И не важно, нравится ли тебе музыка.

Вот так просто отец вывернул все наизнанку и показал, что я учусь играть на скрипке по его воле, а не потому, что этого хотела мама. Вот так просто отец распоряжался чужими судьбами. Но меня в тот момент переполняли эмоции и я не очень вслушивался в эти рассуждения, завершающиеся ужасным «и не важно, нравится ли тебе музыка».

– А какого она года? – спросил я.

Отец показал мне на правую эфу. *Laurentius Storioni*

*Cremonensis me fecit 1764*⁸⁷.

– Позволь мне ее поддержать!

– Нет. Ты можешь думать об историях, связанных с этой скрипкой. Но не трогать ее.

Иаким Муред пропустил две повозки и людей, которые двигались к Лаграсу под предводительством Блонда из Казильяка. Он отошел от дороги, чтобы облегчиться. Несколько мгновений покоя. Вдалеке виднелись медленно движущиеся повозки с древесиной, силуэт монастыря и стена, разрушенная ударом молнии. Три лета он прятался в Каркассоне, скрываясь от злобы жителей Моэны. А теперь его судьба была готова сделать очередной поворот. Он привык говорить на певучем окситанском наречии. Привык не есть сыр каждый день. Но к чему ему никак не привыкнуть – так это к отсутствию лесов и гор; то есть они были, но где-то в отдалении, так далеко, что казались ненастоящими. Муред делал свое дело под кустом и внезапно понял, что соскучился не столько по пейзажам Пардака, сколько по отцу и всей семье: Агно, Йенну, Максу, Гермесу, Йозефу, Теодору, Микура, Ильзе, Эрике, Катарине, Матильде, Гретхен и маленькой Беттине, подарившей ему свой медальон с Божьей Матерью, покровительницей дровосеков Пардака, – чтобы он не чувствовал себя одиноким. По щекам Муреды потекли слезы –

⁸⁷ «Лаурентиус Сториони Кремонезц меня сделал 1764» (лат.). Лоренцо Сториони (1744–1816) – один из последних представителей кремонской школы скрипичных мастеров, ученик Гварнери дель Джезу.

так сильно он затосковал по своим. Он вытащил медальон из ворота рубахи и принялся рассматривать: Пресвятая Божья Матерь с Младенцем под сенью ели, напоминавшей ему о таком же дереве над потоком Травиньоло в родном Пардаке.

Ремонт стены был сложным делом, поскольку сначала следовало разобрать большой кусок явно ненадежной кладки. За несколько дней он построил внушительные деревянные леса. Ему прислали в помощь плотника, брата Габриэля, чьи руки походили на медвежьи лапы, когда нужно было разрушать и колотить, но становились легче пера, когда дело касалось тонкой работы по дереву. Они поняли друг друга с полуслова. Говорливый монах сказал: как это ты понимаешь дерево, если ты не плотник, а Иаким, впервые за все это время перестав опасаться за свою жизнь, ответил: потому что, брат Габриэль, я не плотник, но – рубщик дерева, я – знаток поющей древесины. Мое дело – заставить дерево петь, выбрать то дерево и ту часть ствола, из которых мастер-лютье⁸⁸ сделает хороший музыкальный инструмент – скрипку, виолончель или что-то еще.

– А что ты сделал, работая на настоящего мастера, дитя Божье?

– Ничего. Это сложно.

– Ты сбежал, чего-то страшаешься.

⁸⁸ *Лютье* – мастер по изготовлению всех струнных музыкальных инструментов.

– Ладно, я не знаю.

– Я не тот, кто должен указывать тебе на это, но все же берегись, если бежишь от самого себя.

– Нет. Думаю, нет. С чего бы?

– Потому что того, кто бежит от себя самого, всегда преследует тень врага и нет ему покоя до самой смерти.

– Твой отец – скрипач? – спросил меня Бернат.

– Нет.

– Хорошо, я... Но эта скрипка – моя, – подвел он итог.

– А я и не говорю, что не твоя. Я только сказал, что ты принадлежишь скрипке.

– Ты говоришь странные вещи.

Мы замолчали. Слышно, как Трульолс повышает голос, заставляя умолкнуть сфальшивившего ученика.

– Какой кошмар, – сказал Бернат.

– Ага. – Молчание. – Как тебя зовут?

– Бернат Пленса. А тебя?

– Адриа Ардевол.

– Ты за «Барсу»⁸⁹ или за «Эспаньол»?⁹⁰

– За «Барсу». А ты?

– Тоже.

– Ты собираешь вкладыши?

⁸⁹ «Барселона» (Futbol Club Barcelona) – каталонский футбольный клуб, основанный в 1899 г.

⁹⁰ «Эспаньол» (Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona) – испанский спортивный клуб, основанный в 1900 г.

– С машинами.

– Вот черт! У тебя есть серия с «феррари»?

– Нет. Ее ни у кого нет.

– Хочешь сказать, что такой не существует?

– Отец говорит, что нет.

– Вот ведь черт! – Расстроено. – Скажи?

Оба мальчика замолчали, размышляя о серии из трех вкладышей с «феррари» Фанхио⁹¹. Которых, может, и не существовало вовсе. И от этого сосало под ложечкой. А двое мужчин – тоже молча – смотрели, как стена монастыря в Лаграсе поднималась вверх благодаря надежным лесам, сооруженным Иакимом. Спустя какое-то время монах спросил:

– И из какого же дерева ты делаешь инструменты?

– Я их не делаю. И не делал. Я только выбирал самое лучшее дерево. Всегда – самое-самое. За ним ко мне приезжали мастера из Кремоны и выбирали из того, что мы с отцом готовили. Мы продавали им древесину, спиленную в январское новолуние (если они не хотели смолистое дерево) или, наоборот, в разгар лета (если они хотели дерево более гармоничное и благородное). Отец научил меня, как выбрать самое поющее дерево среди сотни других. Да, мне объяснил это отец, а ему – его отец, который работал на семью Амати⁹².

⁹¹ «Ferrari D50», на которой выступал один из лучших гонщиков «Формулы-1» – Хуан Мануэль Фанхио.

⁹² *Амати* – знаменитая семья кремонских лютье. Николо Амати был учителем

– Я не знаю, кто это такие.

Иаким из Пардака рассказал ему о своих родителях, братьях и сестрах, о лесах тирольских Альп. И о Пардаке, который жители высокогорья называют Предаццо. И почувствовал такую легкость, будто исповедался. Словно доверил этому монаху секрет своего бегства и постоянного ощущения опасности. Но не чувствовал вины за убийство, потому что Булхани из Моэны был мерзкой свиньей, уничтожившей их будущее просто из зависти. Он бы воткнул ему в брюхо нож еще тысячу раз, будь у него такая возможность. Нет, Иаким ни в чем не раскаивался.

– О чем ты думаешь, Иаким? Я вижу ненависть на твоём лице.

– Ни о чем. Просто грущу. От воспоминаний. О братьях и сестрах.

– Ты говорил, у тебя их много.

– Да. Сначала родилось восемь мальчиков. И когда уже отчаялись дожидаться хоть одну девочку, тут их родилось шесть.

– А сколько выжило?

– Все.

– Настоящее чудо!

– Как сказать. Теодор не может ходить, у Гермеса голова не в порядке, зато большое и доброе сердце, а Беттина, младшенькая, моя любимая Беттина – слепая.

– Несчастливая мать!

– Она умерла. Умерла родами. И ребенок тоже не выжил.

Брат Габриэль помолчал, словно желая почтить память этой женщины-мученицы. А потом сменил тему:

– Ты говорил о древесине для инструментов. А что за древесина?

– Хорошие инструменты мастера из Кремоны делают, сочетая разные породы дерева в одном инструменте.

– Не хочешь говорить.

– Нет.

– Ну и не надо – сам разберусь.

– Как?

Брат Габриэль подмигнул ему и вернулся в монастырь, пока плотники и их подмастерья после тяжелого рабочего дня, в течение которого они ворочали камни, поднимали их вверх, подкладывая бревна, спускались с лесов незадолго до темноты, чтобы наскоро поесть и лечь отдыхать, провалившись в сон без сновидений.

– Как-нибудь я принесу Сториони в класс.

– Тем хуже для тебя! После ты узнаешь, что такое настоящая порка!

– Тогда зачем она нам нужна?

Отец положил скрипку на стол и посмотрел на меня, упревая руки в боки.

– Зачем она нам... зачем она нам! – передразнил он меня.

– Да. – Я был сыт по горло. – Зачем она нам нужна, если

всегда лежит в футляре, в сейфе под замком и на нее даже взглянуть нельзя?

– Она нам нужна, чтобы она у нас была. Понял?

– Нет.

– Черное дерево, ель и клен.

– Кто вам сказал об этом? – восхитился Иаким из Пардака.

Брат Габриэль привел его в монастырскую ризницу. Надежно спрятанная в сундук, там лежала виола да гамба светлого дерева.

– Что она тут делает?

– Отдыхает.

– В монастыре?

Брат Габриэль махнул рукой, показывая, что ему лень вдаваться в детали.

– Но как вы об этом догадались?

– Я никогда не спрашивал, как они делают инструменты, – ответил он, восхищенный собственным равнодушием.

– Как же вы об этом догадались?

– По запаху дерева.

– Невозможно! Оно очень сухое, да еще и лаком покрыто.

В тот день, закрывшись в ризнице, Иаким Муредда научился распознавать древесину по запаху и подумал – какое мучение, какое ужасное мучение, что он не может рассказать об этом дома. Сначала – отцу, который, должно быть, уже умер от тоски после всего. Потом – Агно, Йенну и Максусу, которые уже несколько лет живут отдельно, Гермесу, ко-

торый туго соображает, Йозефу, хромоногому Теодору, Микура, Ильзе и Эрике, которые уже вышли замуж, Катарине, Матильде, Гретхен и маленькой Беттине, моей любимой слепой малышке, которая дала мне кусочек Пардака – мамин медальон, который я всегда ношу с собой.

Месяца через полтора, когда уже начали разбирать леса, брат Габриэль сказал, что знает одну вещь, которая точно понравится Иакиму.

– Какую?

Они отошли в сторону, подальше от рабочих, и монах прошептал, наклонившись к самому уху Муреды, что знает один очень старый монастырь – заброшенный и всеми забытый, – возле которого растет еловый лес: там та самая ель, что идет на изготовление скрипок.

– Лес?

– Ну, ельник. Штук двадцать елей и прекрасный, могучий клен. И у них нет хозяина. По крайней мере, еще пять лет назад это добро было ничейным.

– Почему?

– Это лес вокруг заброшенного монастыря. – И совсем шепотом: – Ни в Лаграсе, ни в Санта-Марии де Жерри никто не хватится пары деревьев.

– Зачем ты мне это говоришь?

– Ты разве не хочешь вернуться к своим?

– Конечно хочу! Хочу возвратиться к отцу, – надеюсь,

он еще жив. И хочу увидеть Агно, Йенна, Макса, у которых уже свои дома, и Гермеса-дурачка...

— Да, да, да, я знаю. И про Йозефа, и про всех остальных. Одна повозка с древесиной — и это можно будет осуществить.

Иаким из Пардака не вернулся в Каркассон. Из Лаграса он вместе с Блондом из Казильяка и еще парой людей и пятеркой мулов, впряженных в повозку, с котомкой, в которой были спрятаны все заработанные за время изгнания деньги, отправился через Арейджу и порт Салау за своей мечтой.

Они прибыли в Сан-Пере дел Бургал семь или восемь дней спустя, на излете лета. Поднялись по ущелью от Эскало той же тропой, которой далеким зимним днем поднялся к монастырю посланник смерти. Стены монастыря обветшали. Обойдя вокруг них, Иаким остолбенел. Перед ним раскинулся лес, похожий на прекрасный уголок Паневеджио, каким он был до пожара. Десяток (а может, даже и полтора) великолепных мощных елей, а посередине, словно король, прекрасный крепкий клен. Пока спутники отдыхали после трудного пути, Иаким, мысленно благодаря брата Габриэля из Лаграса, бродил от дерева к дереву, прикасался к их стволам, заставляя, как учил отец, древесину петь. И вдыхал запах — так, как учил брат Габриэль. Иаким Муредда был счастлив. Потом через запустелый двор он дошел до закрытых дверей церкви. Толкнул створки ладонью — и древесина, изъ-

еденная жучком, рассыпалась от удара. Внутри церкви было темно, и, заглянув туда, Муред решил не входить внутрь, а вернуться и тоже прилечь отдохнуть.

Они разбили лагерь в стенах монастыря, под полусгнившим навесом. Провизию закупили у крестьян из Эскало и Эстарона, те никак не могли взять в толк, что понадобилось этим людям среди руин Бургала. Почти месяц у них ушло на то, чтобы соорудить приспособления, которые позволят спустить стволы к реке, откуда дорога шла более полого. Иаким обнимал каждое дерево, прежде чем рубить нижние ветви. Простукивал древесину ладонью и слушал звук. Его спутники молча, скептически и недоверчиво наблюдали за ним. Когда повозки были готовы, Иаким из Пардака должен был решить, какие деревья, помимо клена, рубить. Он был убежден, что там растут действительно особенные деревья, и хотя уже давно не практиковал свое ремесло, но чувствовал – перед ним поющие деревья. Он провел много часов, разглядывая таинственные фрески в апсиде монастырской церкви. Они должны были рассказать ему истории, которых он не знал. Пророки и ангелы, святой Петр – его покровитель, святой Павел, святой Иоанн, другие апостолы, Божья Матерь, возносящие мольбы к престолу Господа Вседержителя. Угрызения совести его не мучили.

Потом они приступили к рубке выбранной ели. Это было ровное сухое дерево, выросшее в холоде – сильном и, что особенно важно, постоянном. С плотной древесиной,

равномерно нараставшей год от года. Боже мой, какая древесина! Когда дерево было срублено, он вновь – опять под скептическими взглядами помощников – стал простукивать, нюхать, делать срезы, чтобы понять, какая часть ствола лучше всего. И отметил мелом два куска: один в двенадцать футов, другой – в десять. Там, где дерево пело звонче всего. Там и начал пилить, хоть и не в январское новолуние (старые мастера говорили, что именно тогда следует выбирать дерево для хорошего инструмента). Дело не только в том, что времени было мало. Он был уверен, что смола увлажнит древесину и поможет выдержать длинную дорогу.

– Мне кажется, ты меня дуришь, – сказал Бернат.

– Думай как хочешь.

Они замолчали. Но ученик, который фальшивил, фальшивил настолько ужасно, что сидеть тихо было невыносимо. Через пару минут Адриа продолжил:

– Думай что хочешь. Но это очень занятно – знать, что тобой повелевает скрипка, потому что она – живая.

Отдохнув пару дней, они приступили к клену. Он был огромный, может, двухсотлетний. Листья его уже тронула желтизна в предчувствии первых морозов. Муред знал, что лучшая древесина находится ближе к корням, потому дал указание пилить почти возле земли, хотя люди и ворчали, что это только лишняя работа. Иаким был вынужден пообещать еще два дня отдыха, прежде чем они тронутся в об-

ратный путь. Что ж, они спилили у самой земли. Так низко, что Блонд из Казильяка из любопытства расковырял дырку между корнями.

– Пойдем, ты должен это увидеть, – сказал он Муред, прервав его уже привычные размышления перед загадочными фресками в церковной апсиде.

Рабочие выкорчевали почти весь пенёк. В яме, среди корней, виднелись череп с клочьями волос и человеческие кости, прикрытые истлевшими кусками ткани.

– Поди знай, что тут под деревом кто-то похоронен! – воскликнул один из рабочих.

– Это было сделано очень давно.

– Нет, его не похоронили под деревом, – сказал Блонд из Казильяка.

– Как – нет? – удивился Иаким.

– Ты разве не видишь? Дерево проросло сквозь человека, словно вышло из него. Он питал дерево своей кровью и плотью.

Да. Дерево словно рождалось из чрева скелета. Адриан умоляюще посмотрел на отца, приблизив к нему лицо:

– Папа, я хотел бы только дотронуться смычком... чтобы узнать, как она звучит! Всего пару нот! Совсем чуть-чуть! Ну, папа!

– Нет. Нет – это значит нет. И хватит об этом! – ответил Феликс Ардевол, отводя взгляд.

Знаешь, что я думаю? Что этот кабинет, ставший моим

миром, подобен скрипке, которая за свою долгую жизнь видела разных людей: моего отца, меня... тебя, ибо ты была там по праву, и бог знает кого еще, этого уже не узнать... Нет – это значит нет, Адриа.

– Ты не понимаешь, что он просто не хочет соглашаться? – говорил мне, разозлившись, Бернат спустя много лет.

– Видишь? – Отец сменил тон. Он повернул инструмент и показывает мне его «со спины».

Указывает на какое-то место, но не касается его:

– Вот эта тонкая линия... Кто ее сделал? Каким образом? Случайно? Намеренно? Когда? Где?

Он держит инструмент очень осторожно. И говорит: когда я думаю об этом, я счастлив. Затем кивком указывает на кабинет, на все чудеса, которые тот хранит. Потом аккуратно кладет Виал в футляр, захлопывает его и запирает в темницу-сейф.

В этот момент открылась дверь класса Трульолс. Бернат шепотом, чтобы не услышала учительница, сказал:

– Что за ерунда! Я вовсе не принадлежу скрипке. Она – моя. Мне купил ее отец в магазине фирмы «Паррамон». За сто семьдесят пять песет. – И захлопнул футляр.

Этот тип показался мне очень противным. Такой юный, а уже боится тайны. Нет, дружба между нами невозможна. Нет и нет. Капут. Потом оказалось, что он тоже ходит в иезуитскую школу и учится на класс старше меня. Что зовут его Бернат Пленса-и-Пунсода. Может, я уже это гово-

рил. Он был таким натянутым, словно его окунули в лак для волос и он так и засох. Спустя каких-то четверть часа я узнал, что этот несимпатичный тип, не верящий в тайны, дружба с которым совершенно невозможна, по имени Бернат Пленса-и-Пунсода, извлекает из своей скрипки за тридцать пять ду⁹³ такие нежные и певучие звуки, о которых я и мечтать не мог. И Трульолс одобрительно смотрела на него, а я думал, что за дерьмо моя скрипка. Тогда я поклялся, что заставлю замолчать этого искусственного натянутого типа: и его, и мадам д'Ангулем. Конечно, теперь я понимаю, что лучше бы я так не думал. Но тогда я потихоньку вынашивал эту мысль. Невероятно, как самые невинные вещи могут положить начало страшным трагедиям.

Бернат, стоя посреди лестницы, нащупал карман и вытащил вибрирующий мобильный телефон. Это Текла. Он колебался – отвечать или нет. Ему пришлось посторониться, чтобы пропустить соседку, торопливо спускавшуюся вниз. Бернат бездумно уставился на светившийся экран, будто мог увидеть там рассерженную Теклу. Этот образ доставил ему большое удовольствие. Так что он сунул мобильный в карман и через пару секунд отметил, что вибрация прекратилась. А Текла, может, попыталась обсудить интересующую ее тему с автоответчиком. Он представил, как она говорит: домом в Льянсе пользуемся по оче-

⁹³ До введения евро в Испании один ду⁹³ равнялся пяти песетам.

реди – по полгода каждый. А автоответчик в ответ: ну что вы такое придумали? Вы же там почти не появлялись, а если и приезжали, то ходили с кислой миной на лице, которую вам так нравится корчить, чтобы отравлять жизнь бедному Бернату! А?

Браво автоответчику, думал Бернат. Он постоял на лестничной площадке, восстанавливая дыхание. И слушал дребезжание дверного звонка:

– Дззззззззыыыиннь!

Он так долго ждал хоть какой-то ответной реакции внутри квартиры, что успел подумать о Текле, о Льюренсе и о неприятном разговоре прошлой ночью. Вот послышались шаги. Щелкнул замок, и дверь начала медленно открываться. Перед ним стоял Адриа, глядя поверх очков для чтения с узкими стеклами. Наконец он полностью открыл дверь и включил свет в прихожей. Свет лампочки отразился в его лысине.

– Лампочка на площадке снова перегорела, – сказал Бернат вместо приветствия.

Бернат обнял друга, но тот не ответил на объятие. Адриа снял очки и, приглашая войти в квартиру, сказал: спасибо, что пришел.

– Как ты?

– Плохо. А ты?

– Тоже не очень.

– Выпьешь чего-нибудь?

– Нет. Да. Я больше не пью.

– Мы уже не пьем, не занимаемся любовью, не едим
всласть, не ходим в кино, не получаем удовольствия от книг,
все женщины для нас слишком молоды и даже веры в обе-
щания спасти страну больше нет.

– Хорошая программа!

– Как Текла?

Он вошел в кабинет. Как всегда, войдя туда, Бернат
не мог скрыть восхищения. На несколько мгновений он оста-
новил взгляд на автопортрете, но воздержался от коммен-
тариев.

– Что ты спросил?

– Как Текла?

– Очень хорошо. Просто отлично.

– Я рад.

– Адриа!

– Что?

– Не прикидывайся дураком!

– О чем ты?

– О том, что я два дня назад сказал тебе, что мы раз-
водимся и грыземся не на жизнь, а на смерть...

– Вот черт!

– Ты не помнишь?

– Нет. Я очень сосредоточен и...

– Ты – рассеянный мудрец.

Адриа промолчал. Чтобы не молчать, Бернат произнес:

мы разводимся... в нашем возрасте – и разводимся.

– Сочувствую. Но вы правильно делаете.

– По правде говоря, меня все достало.

Пока Бернат садился, у него стрельнуло в коленях, и он неестественно бодро сказал: вот куда мы вечно так спешим?

Адриа пристально смотрел на него. Казалось, целую вечность. Бернат старался выдержать этот взгляд, пока не заметил, что на самом деле друг мыслями очень далеко.

– Эй, ты где? – Пауза и такой же отсутствующий взгляд. – Адриа? – Ему стало страшно. – Что случилось?

Адриа сглотнул и тоскливо посмотрел на друга. Потом отвел глаза:

– Я болен.

– Что ты говоришь!

Молчание. Вся жизнь, все наши жизни, подумал Бернат, проходят перед глазами, когда кто-то, кого любишь, говорит, что болен. Сейчас – Адриа, сидящий с отсутствующим видом. Бернат мгновенно забыл о Текле, которая проедала ему мозг весь день, всю неделю, весь месяц, чертова баба, и сказал: что... что с тобой?

– Истек срок годности.

Молчание. Вновь эта нескончаемая тишина.

– Но что за болезнь? Какого хрена? Ты умираешь? Это серьезно? Я чем-то могу помочь? Скажи нормально, блин!

Если бы не этот чертов развод с Теклой, он никогда бы

так не отреагировал. Бернат пожалел о своей несдержанности, но, как он видел, Адриа почти не обратил внимания на этот эмоциональный взрыв и продолжал улыбаться с отсутствующим видом.

– Конечно, ты можешь кое-что сделать. Одну вещь.

– Конечно. Но... Как ты? Что у тебя?

– Мне сложно объяснить. Меня кладут в медицинский центр. Или что-то вроде этого.

– Черт, да ты выглядишь совершенно здоровым!

– Окажи мне одну услугу.

Он поднялся и исчез в глубине квартиры. Сколько же нужно терпения, думал Бернат, когда находишься между Теклой, с одной стороны, и Адриа, с его вечными загадками и ипохондрией, – с другой.

Адриа вернулся со своей ипохондрией и загадкой – на этот раз одной. В форме увесистой кипы бумаг. Он положил ее на журнальный столик перед Бернатом:

– Проследи, чтобы это никуда не потерялось.

– Но погоди! Послушай! Как давно ты болен?

– Я же сказал: уже какое-то время.

– А я ничего не знал!

– А я ничего не знал про твой развод с Теклой. Конечно, я сам часто советовал тебе это сделать. Но каждый раз думал, что вы как-то решили проблему. Я могу продолжать?

Близкие друзья умеют ссориться и мириться и знают,

что не надо говорить друг другу все до конца. Возможно, потому, что твой друг может в ответ дать тебе затрецину. Так говорил Адриа тридцать пять лет назад, и Бернат прекрасно помнил это до сих пор. Будь проклята эта жизнь, которая преподносит нам столько смертей.

– Извини, но я... Конечно, ты можешь продолжать!

– Несколько месяцев назад мне диагностировали дегенеративные процессы в мозге. И болезнь прогрессирует.

– Вот дерьмо!

– Да.

– Ты мог бы мне сказать.

– И что? Ты бы меня излечил?

– Я твой друг!

– Потому я к тебе и обратился.

– Ты можешь жить один?

– Ко мне каждый день приходит Лола Маленькая.

– Катерина.

– Ну да. И остается довольно долго. Оставляет мне готовый уэсин.

Адриа показал на стопку бумаг и сказал: кроме того, мой друг – писатель.

– Несостоявшийся, – сухо заметил Бернат.

– Это ты так говоришь.

– Еще бы я так не говорил! Ты же все время это подразумевал, черт возьми!

– Я всегда тебя критиковал, ты знаешь, но никогда не на-

зывал несостоявшимся.

– Но ты так думал.

– Ты понятия не имеешь, что у меня внутри, – сказал Адриа, внезапно рассердившись и хлопнув себя по лбу ладонью.

– Я уже давно не публикуюсь.

– Но писать не перестал, да?

Тишина. Адриа настойчиво продолжал:

– Не так давно ты объявил, что пишешь роман.

Так или нет?

– Еще один провал. Я его бросил. – Он глубоко вдохнул, выравнивая дыхание. – Ладно. Чего ты хочешь?

Адриа взял бумаги со столика и какое-то время рассматривал, словно впервые. Потом посмотрел на Берната и протянул их ему. Это была толстая стопка листов, исписанных с двух сторон.

– Нужно только то, что с этой стороны.

– То, что написано зелеными чернилами?

– Да.

– А с другой? – Он прочел заголовок: – «Проблема зла».

– А, это ничего. Так, баловство. Полная ерунда, – неловко улыбнулся Адриа.

Бернат рассеянно провел пальцем по стопке, словно перелистывая. И пытаясь взглянуть в сложную вязь почерка друга.

– Что это? – спросил он, наконец поднимая голову.

– Не знаю. Моя жизнь. Моя жизнь и прочие придумки.

– Так ты... Я и не знал, что ты пишешь.

– Теперь знаешь. И больше никто.

– Хочешь, чтобы я сказал свое мнение?

– Нет. Хорошо, если ты мне скажешь свое мнение. Но...

Я прошу... я умоляю тебя набрать этот текст на компьютере.

– Ты так и не освоил тот, что я тебе дал.

Адриа сделал извиняющийся жест:

– Я занимался с Льюренсом.

– И это тебе ничуть не помогло. – Он перевел взгляд на стопку листов. – То, что зелеными чернилами, без названия, как вижу.

– Потому что я не знаю, как назвать. Может, ты мог бы мне помочь?

– Тебе нравится? – Бернат приподнял рукопись.

– В данном случае не имеет значения, нравится мне или нет. Кроме того, это первый раз, когда...

– Ты меня удивляешь.

– Я сам удивлен. Но я должен был это сделать.

Адриа откинулся в кресле. Бернат еще раз провел пальцем по краю стопки и оставил лежать на столике.

– Расскажи, как ты? Я могу что-то сделать...

– Нет, спасибо.

– А как ты себя чувствуешь?

– Сейчас – ничего. Но процесс пойдет дальше. Может случиться, что...

Адриа, размышляя – говорить или нет, смотрел поверх головы Берната на стену, где висела фотография двух друзей с рюкзаками за спиной, из тех времен, когда на голове у них были волосы, зато в животе – пусто. Они снялись в Бибенхаузене: молодые и еще не разучившиеся улыбаться в камеру. А наверху, на самом почетном месте, как в алтаре, висел автопортрет Сары. Адриа сказал шепотом:

– Очень может быть, что через пару месяцев я перестану тебя узнавать...

– Не может быть.

– Может.

– Дерьмово.

– Да.

– И как ты собираешься все устроить?

– Я тебе все скажу, спокойно!

– Хорошо. – Бернат ткнул пальцем в рукопись. – Об этом не беспокойся. С твоим почерком я разберусь. Ты уже решил, что с этим будешь делать?

Адриа сидел с отсутствующим видом. Бернат подумал, что он похож на кающегося во время исповеди. Когда он закончил говорить, повисло молчание. Может быть, они вспоминали свои жизни, которые не назовешь спокойными. И размышляли о вещах, о которых не принято говорить. О стычках и ссорах, неизбежно происходивших время от времени, об ошибках, которые они совершали и жили, не за-

мечая их. И почему-то жизнь всегда заканчивается смертью неожиданно. А еще Бернат думал: я сделаю для тебя все, о чем попросишь. Адриа так и не понял, о чем он думал. В кармане у Берната зажуужжал мобильный телефон. Этот звук показался ему абсолютно неуместным.

– Что это?

– Не обращай внимания. Мобильный. Знаешь, люди пользуются компьютерами, которые им дарят друзья. А еще у нас есть мобильные телефоны.

– Черт, ну так ответь! Телефон нужен для того, чтобы отвечать на звонки.

– Нет. Это наверняка Текла. Подождет.

И они снова погрузились в молчание, ожидая, когда прекратится жуужжание, а оно все нарастало и нарастало, непрошеным гостем вторгаясь в эту беззвучную беседу. И Бернат думал: это точно Текла. Кто еще может так настойчиво названивать? Наконец телефон умолк, и мысли постепенно вновь заполнили пространство вокруг двух друзей.

8

– Но у нас нет ни одного манускрипта! – воскликнул Бернат, когда они стояли на углу улиц Брук и Валенсия, перед консерваторией. Они ходили от дома одного к дому другого, а это было как раз посредине пути.

– Ну так и что?

– И квартира маленькая, если сравнивать с твоей.

– Да. Зато терраса красивая, а?

– Я бы хотел, чтобы у меня был брат.

– Я тоже.

Они замолчали и снова двинулись – в сторону дома Адриа, оттягивая момент прощания. В тишине они скучали по брату, которого у них не было, и размышляли над загадкой: отчего у Роча, Руля, Сулера и Памиеса было по три, пять, шесть братьев, а у них – ни одного.

– Да, но дома у Руля – просто кошмар. Четверо в одной комнате, чуть не на голове друг у друга. Они вечно ругаются.

– Хорошо, хорошо, согласен. Но так интереснее.

– Ну не знаю. Вечно кто-то из младших болтается под ногами.

– Ну да.

– Или из старших.

– Н-да.

А еще Адриа пытался объяснить, что у Берната родители... ну не знаю, не стоят у тебя над душой целыми днями.

– Еще как стоят! «Ты сегодня не занимался на скрипке, Бернат. А школьные задания? Как – не задали уроков? Ты посмотри, во что ты превратил сандалии? Это же просто лошадь какая-то, а не ребенок!» И так – каждый божий день.

– Это ты не видел, что у меня дома творится.

– И что там?

Во время третьей прогулки от дома к дому они пришли к заключению, что невозможно определить, кто из них более несчастлив. Но я уже знал, что, когда мы зайдем к Бернату, дверь откроет его мама, с улыбкой скажет: привет, Адриа! – и потреплет по волосам. А моя мама никогда не говорила даже «Как дела, Адриа?», потому что дверь мне всегда открывала Лола Маленькая, которая лишь слегка щипала меня за щеку, а в доме стояла мертвая тишина.

– Видишь, твоя мама поет, когда штопает носки.

– И что?

– А моя – нет. У нас дома запрещено петь.

– Ничего себе!

– Я несчастный человек.

– Я тоже. Но у тебя всегда отличные оценки.

– Также мне достижение! Да и уроки легкие.

– И дурацкие.

– Кроме скрипки.

– Да я не про скрипку. Я про школу: грамматика, география, физика-химия, математика, естествознание, занудная латынь... Вся эта тягомотина – вот я о чем. Скрипка-то – легко.

Я могу ошибаться в датах, но ты понимаешь, о чем речь, когда я говорю, что мы были несчастны. Думаю, это скорее подростковая меланхолия, а не детские обиды. Может, я неточен в датах, но ясно помню этот разговор с Бернатом, пока мы бродили между его домом и моим, наматывая круги

по улицам Валенсия, Льюрия, Брук, Жирона и Майорка – самой сердцевине Эшампле, моему миру, родившемуся в ходе этих прогулок. А еще у Берната была электрическая железная дорога, а у меня – нет. И родители спрашивали Берната: а чем ты хочешь заниматься, когда вырастешь? А тот мог ответить: еще не знаю.

– Надо бы начать думать об этом, – спокойно говорит сеньор Пленса.

– Конечно, папа.

Всего лишь только это ему и говорят, представляешь? Ему говорят, что он может стать кем хочет, а мне отец однажды объявил: слушай меня внимательно, повторять я не буду, сейчас я скажу тебе, кем ты станешь, когда вырастешь. Отец подробно размечал мне дорогу по жизни – каждый этап, каждый поворот. А когда за это взялась мама, стало только хуже. Я не жалею, просто пишу тебе. А тогда я жил в таком напряжении, что не мог обсудить это даже с Бернатом. В самом деле, честно! У меня было столько немецкого, что я не мог сделать все задания, а Трульолс требовала заниматься по полтора часа, если я хочу хотя бы в первом приближении справиться с двойными нотами. Я ненавидел двойные ноты, потому что, когда от тебя хотят, чтобы звучала одна струна, вместо этого у тебя звучит сразу три, а когда хочешь, чтобы две, то получается только одна и приходит момент, когда мечтаешь разбить скрипку о стену. Потому что тебе не справиться с аппликатурой, а у тебя есть пла-

стинка с записями Иосифа Робертовича Хейфеца, чья техника безупречна. Мне хотелось быть Хейфецем по трем причинам. Первая: потому что его преподавательница уж точно не говорила ему: нет, Яша, третий палец должен скользить вместе с рукой, не оставляй его на грифе, ради всего святого, Яша Ардевол! Вторая: потому что он всегда играл хорошо. Третья: потому что у него наверняка не было такого отца, как у меня. И четвертая: я пришел к выводу, что быть талантливым ребенком – сродни тяжелой болезни, которую он смог пережить по разным причинам и которую я тоже пережил, но только оттого, что не был по-настоящему талантливым ребенком, как бы это ни печалило отца.

– Хау!

– Говори, Черный Орел!

– Ты говорил – три.

– Что «три»?

– Три причины хотеть быть Яшей Хейфецем.

Это потому, что я временами теряю нить. И сейчас, пока я все это пишу, с каждым днем запутываюсь все больше. Не уверен, что смогу добраться до конца.

Совершенно ясно, что мое мрачное детство было результатом педагогической деятельности отца, который однажды, когда Лола Маленькая хотела мне помочь, сказал: да что за чертовщина тут творится? У него немецкий, скрипка, и поэтому он не может учить английский? Вот как? Он что,

сахарный, мой сын? А? Кроме того, ты – никто, у тебя нет права голоса... С какой стати я вообще должен это обсуждать с тобой?

Лола Маленькая вышла из кабинета еще более разъяренная, чем вошла. Все началось, когда отец объявил, что я должен освободить понедельник, чтобы начать заниматься английским с мистером Пратсом, весьма ценным молодым человеком. Я застыл с открытым ртом, потому что не знал, что сказать, поскольку очень хотел учить английский, но не хотел, чтобы отец... Я смотрел на маму, пока она доедала отварные овощи и Лола Маленькая уносила пустое блюдо на кухню. Но мама не произнесла ни звука, я остался один... и сказал тогда, что мне нужно время для скрипки, потому что двойные ноты...

– Отговорки! Двойные ноты... Посмотри, как играет любой приличный скрипач, и не говори мне, что не можешь стать таким.

– Мне не хватает времени.

– Ну так найди его, ты же ничем не обременен. Или оставь скрипку, я тебе уже говорил.

Назавтра между мамой и Лолой Маленькой вышел спор, который я не мог подслушать, потому что у меня не было устроено никакой шпионской базы в гладильной комнате. После этого – спустя пару дней – Лола Маленькая повздорила с отцом. Это когда она вышла из кабинета еще более разъяренная, чем вошла. Но она была единственным человеком

в доме, который не боялся отца и смел ему возражать. В понедельник перед началом рождественских каникул я не смог встретиться с Бернатом, чтобы погулять.

- One.
- Uan.
- Two.
- Tu.
- Three.
- Thrrii.
- Four.
- Foa.
- Four.
- Fuoa...
- Ffffoouur.
- Ffffoooa.
- It's all right!

В английском меня очаровало произношение – всегда чудесным образом не совпадавшее с тем, как пишется слово. И еще меня радовала простота морфологии. И переключка с немецким в плане лексики. Мистер Пратс был чрезвычайно застенчив – настолько, что не поднимал на меня глаз, пока читал мне первый текст на английском языке, который я тут не буду приводить из соображений хорошего вкуса. Чтобы ты могла себе представить: сюжет заключался в том, на столе лежит карандаш или под столом. Логически непредсказуемая развязка подводила к ответу, что он в кармане.

– Как идут занятия английским? – нетерпеливо спросил меня отец спустя десять минут после окончания первого же урока, за ужином.

– It's all right⁹⁴, – ответил я, изобразив на лице безразличие. Но внутри я бесился, потому что, вообще-то, несмотря на отца, сгорал от желания узнать, как будет «раз, два, три, четыре» по-арамейски.

– Можно две? – спросил Бернат, всегда настаивавший на своем.

– Конечно.

Лола Маленькая дала ему две шоколадки. Потом поколебалась долю секунды и протянула вторую мне. Первый раз в этой ссучьей жизни мне не нужно было добывать их тайком.

– Только не крошите!

Мальчики отправились в комнату, и по дороге Бернат спросил: скажи, что там?

– Большой секрет.

В комнате я открыл альбом с вкладышами с гоночными машинами на главной странице и, не глядя в него, стал смотреть в лицо друга. Тот, к счастью, опустил глаза.

– Нет!

– Да!

– Они таки существуют!

⁹⁴ Все хорошо (англ.).

– Да.

Это был тройной вкладыш с Фанхио возле «феррари». Да-да, ты не ослышалась, любимая: тройной вкладыш с Фанхио.

– Можно потрогать?

– Эй, только осторожно!

Таков уж Бернат: если какая-то вещь ему нравится, обязательно нужно ее потрогать. Как я. Так было всю жизнь. И сейчас так. Как я. Адриа, чрезвычайно довольный, наблюдал, как завидует друг, прикасаясь кончиками пальцев к изображению Фанхио и красной «феррари» – самой быстрой машины всех времен (кроме будущего).

– Мы же решили, что ее не существует. Как ты это достал?

– Связи.

Когда я был маленьким, то часто вел себя так. Наверное, подражал отцу. Или, может быть, сеньору Беренгеру. В данном случае «связи» – это одно чрезвычайно удачное воскресное утро на блошином рынке Сан-Антони. Там можно найти что угодно, потерянное во времени. От концертных платьев Жозефины Бейкер до посвященного Жерони Занне сборника стихов Жузепа Марии Лопеса-Пико. И тройной вкладыш «феррари» тоже, которого, как говорили, не было ни у одного мальчика в Барселоне. Изредка отец брал меня с собой на рынок, старался меня чем-нибудь занять, а сам беседовал с загадочными людьми с вечной сигареткой в углу рта, руками в карманах и беспокойным взглядом. Он записывал что-то таинственное в тетрадку, которая потом исче-

зала в каком-нибудь секретном кармане.

Тяжело вздохнув, они захлопнули альбом. Они должны были терпеливо ждать, сидя в комнате, как в засаде. Нужно было о чем-нибудь говорить, чтобы не сидеть молча. Поэтому Бернат решил спросить о том, что давно не давало ему покоя, но о чем лучше было не спрашивать, потому что дома ему сказали: лучше не поднимай эту тему, Бернат. Но он решился спросить:

– Как это так, что ты не ходишь на мессу?

– У меня есть разрешение.

– От кого? От Бога?

– Нет, от падре Англады.

– Ни фиги себе! А почему все-таки ты не ходишь на мессу?

– Я не христианин.

– Вот черт! – Растерянное молчание. – А разве можно не быть христианином?

– Наверное. Я же не христианин.

– Но что ты тогда? Буддист? Японец? Коммунист? А?

– Я ничто.

– Разве можно быть ничем?

Я никогда не знал ответа на этот вопрос, вставший передо мной в детстве и наводивший на меня тоску. Разве можно быть ничем? Я стану ничем. Стану подобным нолю, который не является ни натуральным числом, ни целым, ни рациональным, ни вещественным, ни комплексным? Подобным нейтральному элементу среди целых чисел? Я полагаю,

что и того хуже: когда меня не станет, я перестану быть необходимым, если я вообще необходим.

– Хау! Я совсем запутался.

– Слушай, не усложняй!

– Нет, что до меня...

– Помолчи, Черный Орел!

– Я верю, что Великий Дух Маниту защищает всех: и бизонов от опасностей в прериях, и людей от дождя и снега, – и выводит на небо солнце, которое нас греет и уходит за горизонт, когда пора спать, и направляет дуновение ветра и течение рек, и нацеливает зрачок орла на его жертву, и побуждает воинственный дух героя умереть за свой народ.

– Эй, Адриа, где ты витаешь?

Адриа мигнул и ответил: да тут я, тут.

– Иногда ты ускользаешь куда-то.

– Я?

– Дома говорят, это потому, что ты – мудрец.

– Из меня мудрец, как из дерьма – пуля. Хотел бы я иметь...

– Вот только не начинай!

– Тебя дома любят.

– А тебя – нет?

– Нет. Меня просчитывают. Высчитывают коэффициент интеллекта и говорят: надо послать его в Швейцарию, в специальную школу, надо, чтобы он мог пройти три класса за год.

– Ого! Разве это не здорово? – Он подозрительно посмотрел на меня. – Нет?

– Нет. Они спорят на мой счет. Но не любят.

– Да ну... По мне, так все эти поцелуи...

Когда мама сказала Лоле Маленькой «сходи в лавку Розиты», я понял, что наш час пробил. Как два вора, как те, кто говорит в сердце своем: не скоро придет Господин мой, мы вошли туда, куда вход нам был воспрещен. В полной тишине мы проскользнули в кабинет отца, чутко прислушиваясь к звукам в глубине дома, где мама и сеньора Анжелета разбирали одежду. Пару минут мы привыкали к темноте и насыщенной атмосфере комнаты.

– Тут странно пахнет, – сказал Бернат.

– Ш-ш-ш! – прошептал я, немножко мелодраматично, чтобы произвести впечатление на Берната сейчас, когда мы только начали дружить. Я сказал ему, что это не просто запах – так пахнет сама история, которую составляют предметы из папиной коллекции. Я не очень понимал, что говорю, и, если честно, не совсем в это верил.

Когда глаза привыкли к темноте, первое, что увидел с удовольствием Адриа, – изумленное лицо Берната. Тот уже почувствовал не странный запах, но дух самой истории, который испускали предметы коллекции. Два стола, заваленные манускриптами, над ними странная лампа... Что это? А, lupa. Фу, вот черт... И гора старых книг. В глубине – шка-

фы, заполненные еще более древними книгами, слева – стена, увешанная небольшими картинами.

– Они ценные?

– Ух!

– Ух – что?

– Вот эта – кисти Вайреды⁹⁵, – гордо пояснил Адриа, показывая на набросок.

– А-а.

– Знаешь, кто такой Вайреда?

– Нет. Дорого стоит?

– Ужас сколько. А это – гравюра Рембрандта. Она не уникальна, но...

– А-а.

– Знаешь, кто такой Рембрандт?

– Не-а.

– А эта вот маленькая...

– Она очень красивая.

– Да. Эта самая ценная.

Бернат приблизился к бледно-желтым гардениям Абрахама Миньона⁹⁶, словно хотел ощутить их запах. Точнее, словно хотел унюхать запах денег.

– И сколько стоит?

⁹⁵ Жуаки́м Вай́реда (1843–1894) – один из наиболее известных каталонских художников-пейзажистов XIX в.

⁹⁶ Абра́хам Миньон (1640–1679) – голландский живописец, рисовавший в основном натюрморты, среди которых множество ваз с цветами на темном фоне.

– Тысячи песет.

– Ого! – Он словно погрузился в транс на какое-то время. – А сколько тысяч?

– Не знаю точно, но очень много.

Лучше оставить его в неопределенности. Это было хорошее начало, а теперь нужно нанести решающий удар. Поэтому я подвел его к стеклянной витрине. Он замер, а потом воскликнул: вот черт, что это?

– Кинжал кайкен, самурайский, – гордо ответил Адриа.

Бернат открыл дверцу витрины – я нервничал и посматривал на дверь кабинета, – взял кинжал (такой же самурайский кайкен, как и в нашем магазине), заинтригованный, подошел к окну, чтобы рассмотреть его получше, и вытащил из ножен.

– Осторожно! – сказал я таинственным голосом – мне показалось, что он недостаточно впечатлен.

– Что значит «самурайский кинжал кайкен»?

– Это кинжал, которым японские женщины-самураи совершали самоубийство. – И повторил, понизив голос: – Орудие самоубийства!

– А зачем они убивали себя? – без всякого удивления, без сочувствия, как-то тупо спросил Бернат.

– Ну... – Я напряг воображение. – Если дела складывались не очень хорошо, чтобы покончить со всем.

И добавил, чтобы подвести черту:

– Эпоха Эдо, шестнадцатый век.

– Ух ты!

Он внимательно рассматривал кинжал, наверное представляя самоубийство японских женщин-самураев. Адриа забрал у него кайкен, вернул в ножны и, стараясь не шуметь, положил обратно в витрину. Тихо закрыл дверцу. Теперь он понял, что должен все-таки сразить друга наповал. До этого момента мальчик колебался, но сейчас принял решение: нужно заставить Берната забыть о сдержанности, заставить того выпустить наружу настоящие эмоции. Адриа приложил палец к губам, призывая к абсолютной тишине, включил свет в углу и начал вращать ручку сейфа: шестерка единица пятерка четверка двойка восьмерка. Отец никогда не закрывал его ключом, только на кодовый замок. Итак, я открыл тайную комнату сокровищницы Тутанхамона. Несколько связок древних бумаг, две закрытые коробочки, куча папок с документами, три пачки ассигнаций в углу и на верхней полочке скрипичный футляр с размытым пятном на крышке. Я вынул его не дыша. Затем открыл футляр, и перед нами возникла сияющая Сториони. Сияющая ярче обычного. Я перенес ее ближе к свету и показал Бернату на прорезь эфы.

– Читай, что там написано! – скомандовал я.

– *Laurentius Storioni Cremonensis me fecit.* – Он поднял голову, зачарованный. – Что это значит?

– Прочти до конца, – проворчал я, еле сдерживаясь.

Бернат снова начал вглядываться в полумрак скрипично-

го нутра. Я повернул скрипку так, чтобы было легче увидеть цифры: один семь шесть четыре.

– Тысяча семьсот шестьдесят четвертый, – не выдержал Адриа.

– Вот это да! Дай сыграть на ней что-нибудь. Чтобы услышать, как она звучит.

– Ну да. И отец сошлет нас на галеры. Ты можешь только прикоснуться к ней.

– Почему?

– Самый ценный предмет в доме, понял?

– Даже больше, чем желтые цветы... не помню как его?

– Больше. Гораздо больше.

Бернат дотронулся до скрипки пальцем, а потом, вопреки запрету, щипнул струну «ре». Она пропела нежно, мягко.

– Звучит низковато.

– У тебя абсолютный слух, что ли?

– Что?

– Откуда ты знаешь, что она звучит ниже, чем нужно?

– Потому что *ре* должно звучать чуть выше, самую чуточку.

– Черт, как же я тебе завидую! – Сегодняшний вечер должен был поразить Берната, а вышло наоборот.

– Почему?

– Потому что у тебя абсолютный слух.

– Что ты хочешь сказать?

– Ладно, об этом потом. – И я возвращаюсь к началу: –

Тысяча семьсот шестьдесят четвертый, слышал, да?

— Тысяча семьсот шестьдесят четвертый... — Бернат проносит это с безыскусным восторгом, что мне очень нравится. Он снова нежно погладил ее и сказал: я закончил ее, Мария. И она прошептала ему: я так тобой горжусь. Лоренцо провел по ее коже, и инструмент как будто вздрогнул в его руках, а Мария невольно почувствовала укол ревности. Его пальцы восхищались плавными изгибами линий. Он положил скрипку на верстак в мастерской и стал отходить, пока не перестал ощущать тонкий восхитительный запах ели и клена. Теперь, полный гордости, он с расстояния продолжал любоваться своим детищем. Маэстро Зосимо учил, что хорошая скрипка должна не только прекрасно звучать, но и доставлять удовольствие своим видом и изящными пропорциями, в которых заключена ее ценность. Что ж, он чувствовал удовлетворение. Правда, слегка омраченное, ибо пока не представлял, сколько придется заплатить за материал. И все-таки удовлетворение. Это была первая скрипка, которую он от начала до конца сделал сам. И она была очень хороша.

По губам Лоренцо Сториони скользнула улыбка. Он знал, что после нанесения лака звук у скрипки приобретет необходимые оттенки. Лоренцо колебался: стоит ли ее показать сначала маэстро Зосимо или сразу предложить месье Ла Гиту, который, устав от Кремоны и ее обитателей, собирался скоро вернуться в Париж. Своего рода верность учителю за-

ставила Сториони прийти в мастерскую Зосимо Бергонци с инструментом, еще бледным, подобно покойнику в гробу. Три головы поднялись, отрываясь от работы, когда он вошел. Маэстро тотчас понял, отчего на губах его полуученика играет улыбка, оставил деталь виолончели, которую полировал, и отвел Лоренцо к окну, выходящему на улицу, ибо оно давало наилучший свет. Лоренцо молча достал скрипку из соснового футляра и показал учителю. Первое, что сделал Зосимо Бергонци, – ласкающим движением пальцев прошелся по верхней и нижней деке. Маэстро сразу понял, что все сделано так, как он и предполагал, когда несколько месяцев тому назад тайно передал ученику прекрасное дерево, чтобы тот попробовал самостоятельно воплотить в жизнь все, чему научился.

– Вы в самом деле мне его дарите? – изумленно сказал Лоренцо Сториони.

– Более или менее.

– Но это же дерево из...

– Да. Из той партии, которую привез Иаким из Пардака. Сейчас самое время пустить его в дело.

– Я бы хотел знать его цену.

– Говорю тебе – не бери в голову. Сделаешь первый инструмент, тогда и скажу.

Никто не дарит такой материал. Много лет назад, в год Господень 1705-й – задолго до рождения на свет Сториони, – когда Земля была круглее, а трава зеленее, так и не рас-

кажавшийся Иаким Муред из Пардака прибыл в Кремону с Блондом из Казильяка и привез с собой повозку, полную бесценной древесины. Это событие запомнилось надолго. Иакому перевалило за тридцать, прожитые годы превратили его в крепкого и хмурого человека. Муред оставил Блонда из Казильяка с грузом довольно далеко от города, а сам торопливо пошел в Кремону. Дойдя до дубовой рощи, он решил облегчиться. Иаким устроился в укромном месте и присел, но тут увидел перед собой какие-то тряпки. Это немедленно перенесло его в тот день, когда он вот так же обнаружил куртку мерзавца Булхани Брочи из Моэны, ко всем несчастьям, которые затем обрушились на его голову, и к мыслям о том, что, возможно, судьба ему улыбнулась и все теперь закончится. И слезы потекли по его лицу от нахлынувших переживаний. Облегчившись и приведя себя в порядок, Муред пришел в город и направился прямо в мастерскую Страдивари, где бывал несколько раз до этого. Его провели к маэстро. Иаким сказал ему, что знает о тех проблемах с древесиной, которые возникли после пожара в Паневеджио пятнадцать лет назад.

– Я беру дерево в других местах.

– Знаю. Из лесов Словении. Но из этого дерева выходят инструменты, дающие глухой звук.

– Другого материала нет.

– Еще как есть! У меня.

Для Страдивари этот визит стал полной неожиданностью.

Взяв с собой самого молчаливого сына, Омобоно, и своего ученика, звавшегося Бергонци, он тихо покинул город и пришел к месту, где была спрятана повозка. Они, все трое, подвергли древесину самому тщательному осмотру: отпиливали маленькие кусочки, пробовали на зуб, рассматривали, а Иаким, сын Муреды, с удовлетворением наблюдал за ними, пока те внимательно рассматривали образцы. Уже стемнело, когда маэстро Антонио начал серьезный разговор:

– Где ты взял это дерево?

– Очень далеко отсюда. На западе, в очень холодном месте.

– Откуда я знаю, что ты его не украл?

– Вы можете доверять мне. Вся моя жизнь связана с деревом: я знаю, как оно должно петь, как должно пахнуть. И умею выбирать.

– Дерево отличное и правильно спиленное. Где ты этому научился?

– Я сын Муреды из Пардака. Можете спросить моего отца.

– Пардак?

– Здесь вы его называете Предаццо.

– Муред из Предаццо умер.

Из глаз Иакима потекли непрошеные слезы. Как же это больно – отец мертв... и не увидит, как я вернусь домой с мешками, полными золота, которые позволят больше не работать ни ему, ни моим братьям и сестрам: Агно, Йенну, Макс, Гермесу-дурачку, Йозефу, хромоногому Теодору,

Микура, Ильзе, Эрике, Катарине, Матильде, Гретхен и малышке Беттине, моей любимой незрячей сестренке, что подарила мне медальон с Пресвятой Девой, покровительницей Пардака, врученный ей матерью перед смертью.

– Умер? Мой отец?

– Да, от переживаний после пожара. И от переживаний после смерти сына.

– Какого сына?

– Иакима, самого любимого.

– Но я – Иаким!

– Иаким умер: утонул в озере Форте-Бузо, спасаясь от пожара. – Маэстро с иронией посмотрел на него. – Если ты сын Муреды, то не можешь об этом не знать.

– Иаким, сын Муреды из Пардака, – это я, – повторил Иаким, сын Муреды из Пардака, а Блонд из Казильяка слушал их разговор со все возрастающим интересом, хотя не все успевал разобрать, потому что они говорили слишком быстро для него.

– Ты меня обманываешь.

– Нет. Смотрите, маэстро!

– Что это?

– Пресвятая Дева, покровительница лесорубов из Пардака. Покровительница семейства Муреды. Медальон, принадлежавший моей матери.

Страдивари взял медальон и внимательно осмотрел. Символическое изображение Божьей Матери и дерево.

– Это ель, маэстро.

– Ель на заднем плане. – Он вернул образок. – Это и есть доказательство?

– Доказательство – та древесина, которую я вам предлагаю, маэстро Антонио. Если она вам не нужна, я предложу ее Гварнери или кому-нибудь еще. Я устал. Я хочу вернуться домой и посмотреть, все ли мои братья и сестры живы. Я хочу увидеть, живы ли Агно, Йенн, Макс, Гермес-дурачок, Йозеф, хромой Теодор, Микура, Ильза, Эрика, Катарина, Матильда, Гретхен и малышка Беттина, подарившая мне медальон.

Антонио Страдивари, не желая, чтобы его опередил Гварнери, был щедр и очень хорошо заплатил за древесину, которая сберегла маэстро силы и время и позволила спокойно стареть в своей мастерской. Теперь он обеспечил себе будущее. Отныне скрипки, сделанные им в следующие двадцать лет, не будут иметь себе равных. Однако он еще этого не знал. Но Омобоно и Франческо – знали, когда после смерти отца рачительно использовали бóльшую часть этого загадочного дерева, прибывшего с запада. Когда и они умерли, то мастерская, в углу коей лежала древесина «с секретом», перешла к Карло Бергонци. А затем этот секретный источник Бергонци передал своим двум сыновьям. Сейчас младший Бергонци, давно ставший маэстро Зосимо, внимательно изучал первый инструмент юного Лоренцо, подставив под свет, льющийся из окна. Он смотрел внутрь скрипки:

– *Laurentius Storioni Cremonensis me fecit, тысяча семьсот шестьдесят четвертый.*

– Отчего ты написал «Кремонец»?

– Потому что горжусь этим.

– Это – твоя подпись. Ты должен будешь одинаково подписывать все свои скрипки.

– Я всегда буду гордиться тем, что родился в Кремоне, маэстро Зосимо.

Старик, удовлетворенный, отдал инструмент автору, чтобы тот убрал его в футляр.

– Никому не говори, откуда у тебя эта древесина. И купи ее с запасом, чтобы хватило на несколько лет. По достойной цене, если хочешь иметь будущее.

– Да, маэстро.

– И не оплошай с лаком.

– Я знаю, как работать с лаком, маэстро.

– Знаю, что знаешь. И тем не менее – не оплошай.

– Сколько я должен вам за древесину, маэстро?

– Ничего. Сделай мне только одно одолжение.

– Я полностью в вашем распоряжении...

– Держись подальше от моей дочери. Она еще совсем девочка.

– Что?

– Что слышал. Не заставляй меня повторять. – Зосимо ткнул рукой в сторону футляра. – Или верни мне скрипку и древесину, которую не потратил.

– Хорошо, я...

Лоренцо побледнел и сравнялся цветом со своей первой скрипкой. Юноша не осмелился встретиться взглядом с маэстро и вышел. В мастерской Зосимо Бергонци стояла тишина. Лоренцо Сториони провел несколько недель, с головой погрузившись в процесс нанесения лака. После чего начал новую скрипку. Все это время он размышлял над ценой, запрошенной Зосимо. Когда скрипка зазвучала как должно, месье Ла Гит, который все еще торчал в Кремоне, получил возможность любоваться легким каштановым оттенком лака – того, что отличал инструменты Сториони. Потом он передал скрипку молчаливому художавому юноше, тот взял смычок и дотронулся до струн. На глаза Лоренцо Сториони навернулись слезы: от звука скрипки и из-за Марии. Это был самый прекрасный звук, который только мог быть. Мария, я люблю тебя. Столько непредвиденных слез и флоринов прибавилось к начальной цене...

– Тысяча флоринов, месье Ла Гит.

Несколько весьма неловких мгновений Ла Гит смотрел ему в глаза. Затем мигнул и перевел взгляд на художавого молчаливого юношу. Мальчик опустил веки в знак согласия. Сториони подумал, что мог бы потребовать и больше, но этому еще предстоит научиться.

– Мы не сможем больше встречаться, Мария, любимая.

– Это слишком много, – сказал Ла Гит, скривив лицо.

– Ваша милость знает, что инструмент того стоит. – Ло-

ренцо решительно взял скрипку. – Если не хотите, я подожду других покупателей. Они приедут на следующей неделе.

– Но почему, Лоренцо, любовь моя?

– Мои клиенты желают Страдивари или Гварнери... Вас же никто не знает. Сториони! *Connais pas*⁹⁷.

– Через десять лет все захотят иметь дома Сториони. – Он поместил инструмент в футляр.

– Твой отец запретил нам видеться. Поэтому и подарил мне древесину.

– Восемь сотен, – услышал он по-французски.

– Нет! Я люблю тебя! Мы любим друг друга!

– Девятьсот пятьдесят.

– Да, мы любим друг друга. Но если твой отец не хочет, чтобы... я не могу...

– Девятьсот. И только потому, что я тороплюсь.

– Убежим, Лоренцо!

– Договорились. Девять сотен.

– Убежим? Как ты можешь предлагать такое, если в Кремоне у меня мастерская?

Он торопился, это точно. Месье Ла Гиту не терпелось уехать с новоприобретенными инструментами, его почти ничего не держало в Кремоне, кроме ласк смуглой и страстной Карины. Торговец размышлял, что эта скрипка отлично подойдет месье Леклеру.

– Перенесем мастерскую в другой город.

⁹⁷ Не знаю (*фр.*).

– Вдали от Кремоны? Никогда!

– Ты предатель! Трус! Ты не любишь меня!

– Если в будущем году я вернусь с новыми заказами, то мы пересмотрим цену в мою пользу, – предупредил Ла Гит.

– Конечно я люблю тебя, Мария! Всем сердцем! Но ты не хочешь понять...

– Договорились, месье Ла Гит.

– У тебя есть другая женщина? Предатель!

– Нет, конечно нет! Но ты знаешь своего отца. Он связал меня по рукам и ногам.

– Трус!

Ла Гит заплатил, больше не торгуясь. Он прикинул, что тот же Леклер в Париже заплатит в пять раз больше без раздумий, и почувствовал себя счастливым. Жаль только, что это последняя неделя, когда он спит в сладких объятиях Карины.

Сториони тоже чувствовал себя счастливым, завершив свою работу. Но и грусть одновременно, поскольку еще не свyksя с тем, что после продажи больше не увидит свое детище. А кроме скрипки, он потерял еще и любовь. Ciao, Мария. Трус. Ciao, любимая. У тебя нет оправданий. Ciao: я буду помнить тебя всегда. Ты променял меня на какое-то дерево, Лоренцо: да чтоб ты сдох! Ciao, Мария: ты даже представить не можешь, как мне жаль. Чтоб твои деревяшки сгнили. Или сгорели! Но еще хуже дело обстояло с месье Жаном-Мари Леклером из Парижа (или Леклером Стар-

шим, или дядюшкой Жаном – кто как к нему обращался), потому что он заплатил непомерную цену за скрипку, за ее бархатистое нежное *ре*, которое случайно извлек из нее Бернат и которое едва успел услышать.

Потом много раз в жизни мне придется стойко выдерживать чужие капризы, но в тот момент я решил, что должен извлечь выгоду из превосходства Берната в музыке и обратить его в свою пользу. Однако для этого мне необходим эффектный ход. Наблюдая за тем, как мой новый друг подушечками пальцев гладит деку Сториони, я сказал: если научишь меня, как исполнять вибрато, сможешь взять ее на день домой.

– Да иди ты!

Бернат улыбнулся, но спустя пару секунд посерьезнел и вздохнул с сожалением:

– Это невозможно: вибрато не учат, его просто чувствуют.

– Учат.

– Чувствуют.

– Тогда не получишь Сториони.

– Хорошо, я научу тебя, как вибрировать на струне.

– Сейчас.

– Договорились, сейчас. Но потом ты мне дашь скрипку.

– Сегодня нельзя. Нужно все подготовить. Потом.

Молчание. Он просчитывает все в голове, не глядя мне в глаза, и думает о волшебном звуке Сториони, боясь прогадать.

– «Потом» – пустое обещание. Когда именно?

– На следующей неделе. Клянусь!

В моей комнате, перед пюпитром с раскрытым на проклятом упражнении XXXIX Шевчиком⁹⁸ (том, что является собой, по словам Трульолс, гениальную квинтэссенцию всего и через которое я должен познать жизнь), мы стояли не меньше получаса. Бернат превращал простые звуки в глубокие при помощи нежной и легкой вибрации пальцев, а Адриа смотрел на него, наблюдая, как Бернат закрывает глаза, концентрируясь на звуке, и думал: чтобы вибрировать, надо закрывать глаза... попробую так, закрыв глаза... но звук все равно получался грубым и резким, как кряканье утки. И он вновь закрывал глаза, крепко зажмуривал веки... Однако звук ускользал.

– Знаешь что? Ты слишком нервничаешь.

– Это ты нервничаешь.

– Я? Почему ты так считаешь?

– Конечно. Потому что, если ты не сможешь меня научить, не видать тебе Сториони. Ни на следующей неделе, никогда.

Это называется моральный шантаж. Но Бернату не остается ничего другого, кроме как забыть о том, что вибраторы чувствуют, а не разучивают. Он смотрит на положение руки, на последовательность движений:

– Слушай, ты же не соус струнами взбиваешь! Расслабься

⁹⁸ *Отакар Шевчик* (1852–1934) – чешский скрипач и педагог, автор учебника «Школа скрипичной техники».

уже!

Адриа понятия не имел, что значит расслабляться. Но он расслабился: закрыл глаза и нащупал вибрато в финале долгой *до* на второй струне. Ардевол запомнил этот момент на всю жизнь, потому что ему показалось, что он начал понимать, что значит заставить звук смеяться или плакать. Мне хотелось кричать от радости, но было стыдно так явно проявлять свои чувства при Бернате. Да и дома такое не поощрялось.

Несмотря на это Богоявление, которое я помню до сих пор, несмотря на чувство бесконечной радости от общения с моим другом, я не стал рассказывать ему ни о вожде арапахо, ни о Карсоне, жующем табак, поскольку не был уверен, что он не посчитает меня инфантильным дурачком, который в десять или двенадцать лет, когда борода вот-вот начнет расти, растрчивает свои интеллектуальные способности на игру с вождем индейцев и шерифом. Я был потрясен тем звуком, что смог извлечь из своей простенькой скрипки. Я поставил палец в первую позицию на второй струне: зазвучала нота *до*, и Адриа заставил ее вибрировать вторым пальцем. Было семь вечера не знаю какого числа осени или зимы тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года в Барселоне, в нашей квартире на улице Валенсия, в самом сердце квартала Эшампле, в центре мира. Я думал, что прикоснулся к небесам, и не подозревал, что ад совсем рядом.

В то воскресенье, запомнившееся мне потому, что отец был в хорошем настроении, родители принимали у себя профессора Прунеса – согласно мнению отца, лучшего в мире палеографа среди ныне живущих, с супругой (лучшей в мире супругой лучшего в мире палеографа среди ныне живущих). Отец подмигнул мне, но я ничего не понял, хотя и знал, что он намекает на некий важный подтекст. Я не мог расшифровать этот намек как раз потому, что контекстом не владел. Кажется, я тебе уже говорил, что был занудой. Они беседовали за кофе: о том, что такой прозрачный фарфор делает кофе особенно вкусным, о манускриптах... Временами в беседе наступали неловкие паузы. В какой-то момент отец решил покончить с этим. Громким голосом, чтобы я услышал из своей комнаты, он отдал приказ:

– Сын, иди сюда! Слышишь меня?

Еще бы Адриа не слышал! Но он боялся, что разразится катастрофа.

– Сыыын!

– Да? – словно издалека откликаюсь я.

– Иди сюда!

Выхода нет, нужно идти. У отца блещут глаза от коньяка, чета Прунес смотрит на меня с симпатией. Мама разливает кофе и делает вид, что ее тут вовсе нет.

– Да? Добрый день!

Гости откликнулись «добрый день» и перевели заинтригованные взгляды на сеньора Ардевола. Отец наставил на меня палец и скомандовал:

– Посчитай по-немецки.

– Отец...

– Делай, что я тебе говорю! – Глаза отца горели от коньяка.

Мама разливала кофе, пристально глядя в чашки тонкого фарфора, которые делают кофе еще вкуснее.

– Eins, zwei, drei.

– Не бормочи, говори внятно, – остановил меня отец. – Начни заново!

– Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. – Я запнулся.

– Дальше? – рявкает отец.

– Elf, zwölf, dreizehn, vierzehn.

– И так далее и так далее и так далее. – Отец говорит, как падре д'Анжело. Потом сухо приказывает: – Теперь по-английски.

– Уже достаточно, Феликс, – подает наконец голос мама.

– Он говорит по-английски. – И маме резко: – Не так ли?

Я подождал пару секунд, но мама промолчала.

– One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.

– Очень хорошо, мальчик! – сказал с энтузиазмом лучший в мире палеограф из ныне живущих. А его супруга молча ап-

лодировала, пока отец не оборвал их: подождите, подождите – и повернулся ко мне:

– Теперь на латыни.

– Но... – восхищенно запротестовал лучший в мире палеограф из ныне живущих.

Я посмотрел на отца, потом на маму, которая чувствовала себя так же неловко, как и я, но не отрывалась от кофе. Я начал:

– Unus una unum, duo duae duo, tres tria, quattuor, quinque, sex, septem, octo, novem, decem. – И умоляюще: – Папа...

– Закрой рот! – сухо оборвал отец. И посмотрел на профессора Прунеса, который бормотал: черт возьми, просто восхитительно!

– Какая прелесть! – сказала супруга доктора Прунеса.

– Феликс... – открыла рот мама.

– Помолчи! – бросил отец. И, обращаясь к гостям: – Это еще не все!

Он тычет в мою сторону пальцем:

– Теперь на греческом.

– Heis mia hen, duo, treis tria, tettares tessares, pente, hex, hepta, octo, ennea, deka.

– Восхитительно! – Теперь чета Прунес аплодирует, словно сидят в театре.

– Хау!

– Не сейчас, Черный Орел.

Отец указал на меня, сделал жест сверху вниз, словно ло-

вил морского окуня, и с гордостью произнес:

– Двенадцать лет. – И мне, не глядя в мою сторону: – Теперь можешь идти.

Я закрылся в комнате, уязвленный тем, что мама даже пальцем не пошевелила, чтобы спасти меня из дурацкого положения. Я с головой погрузился в Карла Мая, дабы забыть о своих горестях. Ранний вечер воскресенья медленно перетек в поздний, а затем и в ночь. Ни Черный Орел, ни достойный Карсон не осмелились отвлечь меня от моего горя.

В один прекрасный день я узнал настоящее лицо Сесилии. Я долго старался рассмотреть его. Зазвонил колокольчик на двери в магазине. Адриа, сказав маме, что идет на тренировку школьной команды по гандболу, а сеньору Беренгеру – что делает уроки, сидел в углу и тайком рассматривал пергаментные страницы латинского манускрипта тринадцатого века. Он практически ничего не понимал, однако манускрипт вызывал в нем сильные эмоции. Колокольчик. Адриа решил, что это неожиданно вернулся отец из Германии и сейчас устроит ему выволочку. Тем более что он всем наврал. Я посмотрел в сторону двери: сеньор Беренгер, надевая пальто, что-то торопливо говорит Сесилии – это пришла она. После чего, держа шляпу в руке, выскакивает вон с недовольным лицом, даже не попрощавшись. Сесилия осталась стоять у двери, напряженно о чем-то думая. Я не знал, поздороваться с ней или подождать, пока она сама меня не заметит. Лучше, наверное, поздороваться... или промолчать?

Но тогда она удивится, когда увидит меня... а что делать с манускриптом... лучше сказать... нет, спрятать и потом... или подождать, пока увидит... Пора мысленно переходить на французский.

Я решил не обнаруживать себя. Сесилия тяжело вздохнула и прошла в кабинет, на ходу снимая пальто. Не знаю почему, но в тот день атмосфера была давящей. Сесилия не выходила в магазин. Вдруг я услышал, что кто-то плачет. Сесилия плачет в кабинете. Мне захотелось сквозь землю провалиться, потому что совершенно невозможно, чтобы она поняла, что я слышал, как она плачет. Взрослые люди плачут время от времени. А если пойти утешить ее? Мне было ужасно жаль Сесилию, потому что она всегда так хорошо держалась, и даже мама, которая с презрением смотрела на всех женщин около отца, отзывалась о ней хорошо. Кроме того, когда взрослый плачет, а ты ребенок – это производит большое впечатление. Поэтому Адриа хотелось исчезнуть. Женщина начала ожесточенно крутить диск телефонного аппарата. Я представлял ее – расстроенную, рассерженную, не понимая, что на самом деле в опасности был я: Сесилия в любой момент могла закрыть магазин и уйти, а я бы остался, запертый в четырех стенах.

– Ты – трус! Нет, дай мне сказать! Ты – трус! Пять лет ты поешь мне песню – ах, Сесилия, в следующем месяце я все ей объясню, я тебе обещаю. Трус! Пять лет кормишь меня пустыми обещаниями. Пять лет! Я уже не девочка, слышишь!

С последним я был полностью согласен. Про остальное не понял ничего. И, как назло, Черный Орел остался дома и мирно дремал на ночном столике.

– Нет, нет и нет! Сейчас говорю я! Мы никогда не будем жить вместе, потому что ты меня не любишь. Нет, помолчи! Сейчас я говорю. Я сказала тебе – помолчи! Можешь засунуть себе в задницу все свои красивые слова. Все кончено. Слышишь? Что?

Адриа за своим столом с книгами гадал: что кончено? Он вообще не мог понять, отчего взрослые вечно так озабочены этим «ты меня не любишь», если любовь – это жуткая гадость с поцелуями и всем таким.

– Нет. Не надо мне ничего говорить. Что? Потому что я повешу трубку, когда мне приспичит. Нет, дорогой, когда мне на то будет охота.

Первый раз я услышал такие слова – «приспичит», «охота». Было забавно слышать такое из уст самого хорошо воспитанного человека из моего окружения.

Сесилия бросила трубку на рычаг с такой силой, словно хотела разбить телефон. И принялась наклеивать этикетки на новые предметы, а потом делать записи в приходно-расходной книге: сосредоточенная и спокойная, словно тут не бушевала буря несколько минут назад. Мне не составило труда выскользнуть наружу через боковую дверь, а потом снова войти, уже с улицы, и сказать «привет!». И убедиться, что на лице Сесилии, всегда тщательно ухоженном,

не осталось ни следа от слез.

– Как дела, красавчик? – улыбнулась она.

А я замер, потому что передо мной вдруг оказался другой человек.

– Что ты попросил у волхвов? – поинтересовалась она.

Я пожал плечами, потому что дома у нас никогда не праздновали День волхвов⁹⁹, ведь подарки детям дарят родители, и нечего потворствовать глупым предрассудкам. Как только я узнал про волхвов, я узнал и то, что ожидание даров в моем случае сводится к ожиданию, какое решение примет отец: что́ на этот раз должно стать моим подарком (или подарками). Выбор подарка никак не зависел ни от моих успехов в учебе, ни от моего поведения (они должны быть образцовыми, это не обсуждалось). Но мне дарили что-нибудь подчеркнуто «детское», ярко контрастировавшее с общей серьезной атмосферой нашего дома.

– Я попросил... – Я вспомнил, как отец говорил, что подарит мне машину с сиреной, но горе мне, если я буду играть с ней в доме и шуметь.

– Ну-ка, поцелуй меня! – сказала Сесилия, притягивая меня к себе и приобнимая.

⁹⁹ Праздник поклонения волхвов широко отмечается в Испании 6 января. По библейской легенде, три царя-волхва – Мельхиор, Гаспар и Бальтасар – явились поклониться младенцу Иисусу и принесли дары – золото, ладан и мирру. В испанской и каталонской традиции именно волхвы, а не Санта-Клаус или Дед Мороз отвечают за зимние детские подарки. Непослушных детей пугают тем, что им вместо подарка достанется уголь.

Через неделю отец вернулся из Бремена с микенской вазой, которая потом много лет стояла в магазине, и, как я понял, с целой кучей бумажных находок. Там было несколько настоящих жемчужин – первые издания, авторские рукописи – и манускрипт четырнадцатого века, который, по словам отца, станет украшением его коллекции. И дома, и в магазине ему сообщили, что за время его отсутствия было несколько странных телефонных звонков. Звонившие просили сеньора Ардевола. А ему будто было наплевать на то, что должно было произойти через несколько дней, он сказал мне: смотри, смотри, какая прелесть – и показал какие-то тетрадки. Это были наброски, сделанные Прустом незадолго до смерти. Мелкая вязь скорописи, заметки на полях, отдельные предложения, стрелки, бумажки, скрепленные скрепками... Ну-ка, прочти вот это.

– Я не понимаю.

– Да боже мой, ну же! Это финал. Последние страницы, последняя фраза. И не говори мне, что не знаешь, как заканчивается «В поисках утраченного времени».

Я ничего не ответил. Отец, поняв, что переборщил, решил скрыть неловкость хорошо знакомым мне приемом:

– Только не говори, что ты все еще не понимаешь французский текст!

– Oui, bien sûr¹⁰⁰, но мне не разобрать почерк!

¹⁰⁰ Да, конечно (*фр.*).

Отец, видимо, не нашел что сказать. Он молча захлопнул тетрадку и спрятал ее в сейф, бормоча себе под нос: нужно наконец принять решение – слишком много ценных вещей теперь в этом доме. А мне слышалось, что слишком много мертвых людей в этом доме.

10

– Папа... Видишь ли, сын... Папа...

– Что? Что с ним случилось?

– Он теперь на небесах.

– Нет никаких небес!

– Папа умер.

Меня больше поразила мертвенная бледность маминого лица, чем ее слова. Казалось, это она умерла. Она была бледна, как скрипка юного Лоренцо Сториони до того, как ее покрыли лаком. И – глаза. Полные тоски. Я никогда не слышал, чтобы мама говорила таким голосом. Избегая глядеть на меня, она не отрывала взгляда от пятна на стене возле кровати и шептала: я не поцеловала его, когда он уходил из дому. Может быть, этот поцелуй спас бы его. А потом еле слышно добавила: если он того заслуживал. Но это мне, наверное, только показалось.

Все это было невозможно понять, поэтому я закрылся в неубранной комнате со своей машиной «скорой помощи» – подарком волхвов. Сел на кровать и тихо заплакал. У нас

всегда дома было тихо, потому что если отец не изучал манускрипты, то он либо читал, либо... умирал.

Я не выяснял подробности у мамы. И не видел мертвого отца. Мне сказали, что произошел несчастный случай: его сбил грузовик на улице Аррабассада, которая находится далеко от Атенеу¹⁰¹, и что, в общем, тебе никак нельзя его увидеть. Меня захлестнула паника: нужно срочно найти Берната, прежде чем мир рухнет и меня посадят в тюрьму.

– Малыш, зачем он взял твою скрипку?

– А? Что?

– Зачем папа взял твою скрипку? – повторила Лола Маленькая.

Сейчас все откроется и я умру от страха. Но пока мне еще хватило сил собраться духом и соврать:

– Он просто забрал ее. Не знаю зачем, он не сказал. – И прибавил в отчаянии: – Он в последнее время был очень странным, папа.

Когда я вру, что случается частенько, я уверен, что всем это очень заметно. Кровь бросается мне в лицо, у меня чувство, что я становлюсь красным как рак, я судорожно ищу незамеченные несообразности, которые могут обрушить здание возведенной мною лжи, думаю, что меня сейчас разоблачат, – и каждый раз удивительным образом мне все сходит с рук. То есть мама просто ничего не замечает, а вот Лола Маленькая, я уверен, все замечает, но притворяется, что нет.

¹⁰¹ *Атенеу* – старейший и крупнейший культурный центр Барселоны.

Загадочная вещь – ложь. Сейчас, став взрослым человеком, я все еще краснею, если вру, и слышу голос сеньоры Анжелеты, которая однажды, когда я уверял, что не брал шоколадку, просто взяла меня за руку, раскрыла мне пальцы и продемонстрировала маме и Лоле Маленькой позорные шоколадные пятна на ладони. Потом согнула мои пальцы, закрыв ладонь, словно книгу, и сказала: все тайное становится явным, помни об этом, Адриа. Я помню, сеньора Анжелета. До сих пор, хотя мне уже стукнуло шестьдесят. Мои воспоминания высечены в мраморе, сеньора Анжелета, и мрамором станут. Но сейчас дело не в украденной плитке шоколада. Я делаю грустное лицо, что совсем не трудно, потому что чувствую себя страшно виноватым и очень боюсь. Я начинаю плакать, потому что отец умер и...

Лола Маленькая вышла из комнаты, и мне слышно, как она с кем-то разговаривает. С кем-то незнакомым, от кого крепко пахнет табаком. Он говорит не по-каталански, а по-испански. Он не разделся в прихожей, шляпу держит в руках. Он вошел в мою комнату и спросил, как меня зовут.

– Адриа.

– Почему папа забрал у тебя скрипку? – Эта настойчивость утомляет.

– Не знаю, клянусь!

Человек показывает обломки моей скрипки для занятий:

– Узнаешь?

– Пф... Это моя скрипка. Была моя скрипка.

– Он попросил ее у тебя?

– Да, – вру я.

– И ничего не объяснил?

– Да.

– Он играл на скрипке?

– Кто?

– Твой отец.

– Нет, что вы!

Я прячу ехидную улыбку: отец, играющий на скрипке! Человек в пальто, со шляпой в руке, воняющий табаком, смотрит на маму и Лолу Маленькую. Те молча слушают наш разговор. Тычет шляпой в сторону «скорой помощи», которую я держу в руках: очень красивая машинка. И выходит из комнаты. Я остался наедине со своей ложью и ничего не понимал. Изнутри «скорой» на меня с жалостью смотрит Черный Орел: он презирует тех, кто лжет.

Похороны были мрачными, множество серьезных мужчин со шляпами в руках и женщин, чьи лица прикрывали черные вуалетки. Приехали двоюродные братья из Тоны и какие-то очень дальние родственники из Боск-д'Ампоста. Первый раз в жизни я оказался в центре внимания, одетый в черное, причесанный на косой пробор, с зализанными волосами; Лола Маленькая намазала мне на голову двойную дозу фиксатора и сказала, что я просто красавчик. И поцеловала в лоб, чего никогда не делала мама. Говорили, что отец лежит в закрытом гробу, но проверить это я не мог. Лола Маленькая ска-

зала, что тело очень изувечено и лучше его не видеть. Бедный отец, целые дни проводить за изучением книги и всяких редкостей, а потом раз – и ты уже умер, а тело твоё изувечено. Что за идиотская штука – жизнь! А что, если эти раны, про которые говорит Лола Маленькая, – от кинжала кайкен из магазина? Хотя нет: сказали же, что его сбила машина.

Какое-то время мы жили с опущенными шторами, а вокруг меня все шептались. Лола не оставляла меня одного, а мама проводила часы, сидя в кресле, в котором обычно пила кофе, перед пустым креслом отца. Но она не пила кофе, потому что было не время. Все это так сложно. Я не знал – может, сесть в пустое кресло? Но мама меня не видела, а когда я ее окликал, брала меня за руку и при этом молча смотрела на рисунок обоев. А я думал – ну и ладно, и не садился в отцовское кресло, полагая, что это все от тоски. Мне тоже было грустно, но я, наоборот, смотрел по сторонам. Это были очень печальные дни, я перестал существовать для мамы. Потом пришлось к этому привыкнуть. Кажется, с того дня мама вообще меня больше не замечала. Должно быть, она чувствовала, что во всем виноват я, и потому не желала больше знать обо мне. Иногда она смотрела на меня, но лишь для того, чтобы дать мне какие-нибудь указания. Забота обо мне целиком перешла в руки Лолы Маленькой. До какого-то момента.

Однажды мама без предупреждения принесла домой новую скрипку – изящную, красивую и с отличным звучанием.

И отдала молча и не глядя на меня. Словно находясь в какой-то прострации. Словно думала о прошлом или о будущем, но только не о том, что делала сейчас. Я изо всех сил старался понять ее. И возобновил занятия скрипкой, которые уже много дней как забросил.

Как-то, занимаясь у себя в комнате, я настраивал скрипку и натянул струну так сильно, что она лопнула. Потом лопнули еще две. Я вышел в гостиную и сказал: мама, мне нужно сходить в «Бетховен». У меня кончились запасные струны. Она посмотрела на меня. Да, она посмотрела в мою сторону, хотя ничего не сказала. Я повторил: мне нужно купить новые струны, и тогда из-за портьеры вышла Лола Маленькая и сказала: пойдем вместе, покажешь, какие тебе нужны: мне кажется, они все одинаковые.

Мы спустились в метро. Лола Маленькая рассказала, что родилась в Барселонете¹⁰² и что ее подруги часто звали погулять в город. Они собирались и уже через десять минут были в нижней части Рамблы¹⁰³. И шатались по бульвару вверх-вниз как дурочки, хихикая в ладошку, чтобы мальчишки не видели. По словам Лолы Маленькой, это было даже интереснее, чем ходить в кино. А еще она сказала, что в жизни не подумала бы, что в таком тесном и темном магазинчи-

¹⁰² *Барселонета* – старый портовый район Барселоны, который был уже за чертой города.

¹⁰³ *Рамбла* – главный барселонский бульвар, ведущий от площади Каталонии к морю. Традиционно – место прогулки горожан.

ке могут продаваться струны для скрипки. Я попросил одну «соль», две «ми» и одну – фирмы «Пирастро»¹⁰⁴. Лола Маленькая заметила: а это, оказывается, просто, можно было написать мне на бумажке и я бы сама купила. Нет-нет, возразил я, мама всегда брала меня с собой на всякий случай. Лола Маленькая расплатилась, мы вышли из «Бетховена». Она наклонилась, чтобы поцеловать меня в щеку, и посмотрела на Рамблу с сожалением, но рот ладонью не прикрыла и не захихикала как дурочка. В тот момент мне пришло в голову, что я, кажется, остаюсь и без мамы тоже.

Спустя пару недель после похорон в дом снова пришли какие-то господа, говорившие по-испански, и мама снова побледнела как мел, и вновь они с Лолой Маленькой стали перешептываться, а я почувствовал себя посторонним. И тогда я набрался смелости и спросил: мама, что случилось? Впервые за много дней она посмотрела на меня по-настоящему. И сказала: это очень серьезно, сын, очень серьезно. Лучше не... Но тут подошла Лола Маленькая и повела меня в школу. Я заметил, что один мальчик странно на меня смотрит, не так, как обычно. А Риера подошел ко мне на перемене во дворе и спросил: а ее тоже похоронили? А я: кого? Он: ну, ее тоже похоронили, да? Я: похоронили кого? Риера только самодовольно усмехнулся: страшно небось видеть одну

¹⁰⁴ «Пирастро» – одна из старейших фирм, производящая струны, канифоль и средства для чистки деревянных струнных щипковых и смычковых инструментов. Основана в 1798 г. в Германии.

только голову? И настойчиво повторил: ее тоже похоронили, да? Я ничего не понял и на всякий случай отошел в залитый солнцем угол, где шел обмен вкладышами. С тех пор я стал избегать Риеры.

Мне всегда стоило труда быть как все. Потому что я таким не был. Моя проблема – серьезная и, по мнению Пужола, неразрешимая – состояла в том, что мне нравилось учиться. Мне нравилось учить историю, латынь, французский, ходить в консерваторию; нравилось, когда Трульолс заставляла меня отрабатывать технику игры, и я разучивал гаммы, воображая, будто выступаю перед переполненным партером. Тогда эти упражнения выходили у меня чуть лучше. Ведь весь секрет – в звуке. Руки после многочасовых упражнений двигаются сами. И временами импровизируют. Мне очень нравилось брать энциклопедию издательства «Эспаза»¹⁰⁵ и путешествовать по ее страницам. И потому в школе, когда сеньор Бадиа задавал какой-нибудь вопрос, Пужол показывал на меня и говорил, что на все вопросы уполномочен отвечать я. А мне становится стыдно отвечать, я чувствую себя дрессированной обезьяной. А они – словно мой отец. Эстебан же – настоящий ублюдок, который сидит за мной, – обзывает меня девчонкой каждый раз, когда я даю правильный ответ. Однажды я сказал сеньору Бадиа, что нет, я не помню квадратный корень из ста сорока четырех, и выбежал из класса,

¹⁰⁵ «Эспаза» – издательство, основанное в 1860 г. в Барселоне, специализирующееся на издании энциклопедий, словарей, учебников, справочников.

потому что меня затошнило. Пока меня выворачивало в туалете, туда зашел Эстебан и сказал: гляди-ка, ты у нас настоящая девчонка! Но когда отец умер, он начал смотреть на меня как-то иначе, словно я вырос в его глазах. Несмотря на то что учиться мне нравилось, думаю, я завидовал ребятам, которые плевали на учебу и периодически получали плохие оценки. В консерватории все было иначе. Там ты остаешься со скрипкой в руках и стараешься извлечь из нее чистый звук. Нет, нет, это похоже на простуженную утку, послушай вот это. Трульолс берет мою скрипку и извлекает звук такой красоты, что даже притом что она довольно старая и ужасно худая, я готов в нее влюбиться. Этот звук кажется бархатным, от него веет тонким ароматом какого-то цветка – я помню его до сих пор.

– Я никогда не научусь извлекать такие звуки! Хотя у меня и получается вибрато.

– Умение приходит со временем.

– Да, но я никогда...

– Никогда не говори никогда, Ардевол.

Хотя этот музыкальный и интеллектуальный совет был и коряво сформулирован, но именно он вдохновил меня больше всех других, полученных за мою долгую жизнь и в Барселоне, и в Германии. К концу месяца качество звука у меня ощутимо улучшилось. Этот звук еще не имел аромата, но уже приобрел бархатистость. Хотя сейчас, когда я думаю о тех днях, то вспоминаю, что не вернулся сразу

ни в школу, ни в консерваторию. Какое-то время я провел в Тоне, у двоюродных братьев. А вернувшись, попытался понять, как все произошло.

Седьмого января доктор Феликс Ардевол вышел из дому, потому что у него была назначена встреча с португальским коллегой, бывшим проездом в городе.

– Где?

Сеньор Ардевол сказал Адриа, что, когда вернется, хочет видеть его комнату прибранной, потому что завтра каникулы заканчиваются. Потом перевел взгляд на жену.

– Что ты сказала? – уже надевая шляпу, спросил он резко.

Она сглотнула слюну, словно провинившаяся ученица. Но все-таки повторила:

– Где ты встречаешься с Пинейру?

Лола Маленькая, войдя в столовую, почувствовала напряжение в воздухе, и вернулась на кухню. Феликс Ардевол подождал пару секунд, давая маме время опомниться. Адриа переводил взгляд с мамы на отца.

– Зачем тебе это знать?

– Хорошо. Можешь ничего не говорить.

И мама пошла вглубь квартиры, не поцеловав его на прощание, как собиралась. Прежде чем скрыться во владениях сеньоры Анжелеты, она услышала: мы договорились встретиться в Атенеу, – и с напором: – если не возражаешь. И, словно желая наказать ее за необычное любопытство, бро-

сил перед уходом:

– Не знаю, во сколько вернусь.

Он зашел в кабинет и сразу же вышел. Мы слышали, как он открывает входную дверь и как захлопнул ее за собой – может, чуть сильнее, чем обычно. Потом – тишина. Адриа трясло: отец унес, Господи Боже мой, отец унес скрипку. Футляр от Сториони с учебной скрипкой внутри. Как автомат, на ватных ногах, он проник в кабинет, дождавшись удобного момента. Как тать, как день Господень, войду я в дом твой¹⁰⁶. Я молился Богу, которого не существует, чтобы мама не зашла в этот момент в комнату, и, бормоча «шесть, один, пять, четыре, два, восемь», открыл дверцу сейфа. Скрипки там не было. Мне захотелось немедленно умереть. Я закрылся в своей комнате и начал ждать возвращения отца, когда он ворвется, разъяренный, с криком: кто решил сделать из меня дурака? Кто знал шифр от сейфа? А? Лола Маленькая?

– Но ведь я...

– Карме?

– Ради всего святого, Феликс!

А потом посмотрит на меня и скажет: Адриа? И мне, как всегда, придется врать, но отец обо всем догадается. И хотя я и буду в двух шагах от него, начнет кричать так, словно стоит в конце улицы Брук. Кричать: иди сюда. И поскольку я не шевельнусь, закричит еще громче: я сказал –

¹⁰⁶ Парафраз строки «день Господень так придет, как тать ночью» (1 Сол. 5: 2).

иди сюда! И бедный Адриа, опустив голову и стараясь выглядеть невиновным, пойдет, чтобы узнать плохие новости, очень плохие... Но вместо этого зазвонил телефон и мама, войдя в комнату, сказала: знаешь... сын... Папа... И он: что? что с ним? Она: в общем, он ушел на небеса. А ему взбрело в голову сказать, что небес не существует.

– Папа умер.

Сперва я почувствовал облегчение, потому что раз отец мертв, то не устроит мне головомойку. Потом понял, что грех так думать. И еще: что хотя Неба и не существует, но я чувствую себя презренным грешником, потому что ни секунды не сомневался – отец умер по моей вине.

Сеньоре Карме Боск д'Ардевол пришлось пройти через процедуру официального опознания, мучительную и тоскливую, обезглавленного тела, принадлежавшего Феликсу: родимое пятно на... да, вот это. Да, и еще две родинки. Это холодное тело – он. Он уже не сможет никого бранить, и все-таки это он, никакого сомнения, да, это мой муж, сеньор Феликс Ардевол-и-Гитерес, да.

– Как его зовут?

– Пинейру. Из Коимбры. Профессор из Коимбры, да. Орасиу Пинейру.

– Вы с ним знакомы, сеньора?

– Видела его пару раз. Когда он приезжал в Барселону, то останавливался в отеле «Колумб».

Комиссар Пласенсия сделал знак человеку с усиками, и тот молча вышел. Он смотрел на эту внезапно овдовевшую женщину, еще не одетую в траур, потому что всего полчасика назад к ней пришли и сказали: вам необходимо пройти с нами. Она спросила: но что случилось? А эти двое: сожалеем, сеньора, мы не уполномочены ничего сообщать вам. Она элегантно движением надела красное пальто и сказала Лоле Маленькой: ты накорми мальчика полдником, я скоро вернусь. А теперь она сидела в своем красном пальто и смотрела невидящим взглядом на трещинки в столе комиссара и думала: это невозможно. И высоким умоляющим голосом сказала: вы можете мне объяснить, что произошло?

– Ни следа, комиссар, – сказал человек с тонкими усиками.

Ни в Атенеу, ни в отеле «Колумб», ни где-либо еще в Барселоне не нашлось ни следа профессора Пинейру. А когда они позвонили в Коимбру, то услышали испуганный голос Орасиу да Кошта Пинейру, который только и мог выговорить: к-к-к-как может быть, что-что-что... ведь доктор Ардевол, ведь он... О, какой ужас! Да, сеньор, да, если... вы уверены, что тут нет никакой ошибки? Обезглавлен? А как вы узнали, что... То есть вы хотите сказать, что... Это совершенно невозможно!

– Папа... папа ушел на небеса.

Я понимал, что отец умер по моей вине. Поэтому не мог

ничего никому рассказать. И пока Лола Маленькая, мама и сеньора Анжелета искали подходящую одежду для похорон, периодически разражаясь слезами, я чувствовал себя презренным, трусливым убийцей. И много еще чего, о чем сейчас уже не помню.

На следующий день после похорон мама, нервно потирая руки, внезапно очнулась и сказала: Лола Маленькая, дай мне визитку комиссара Пласенсии. Адриа слышал, как она говорила по телефону: у нас дома есть очень ценная скрипка. Комиссар пришел к нам, а мама позвала сеньора Беренгера, чтобы тот помог ей.

– Никто не знает кодовый шифр сейфа?

Комиссар обернулся и обвел взглядом сеньора Беренгера, Лолу Маленькую и меня, стоявшего в коридоре у двери.

Сеньор Беренгер начал спрашивать наши даты рождения и по очереди попробовал их набрать.

– Ничего, – сказал он нервно.

А я, стоя в коридоре, чуть было не сказал «шесть один пять четыре два восемь». Но делать это было нельзя – ведь я тут же превратился бы в главного подозреваемого. А я не был подозреваемым. Я просто был виноват. И молчал. Мне очень трудно было промолчать. Комиссар прямо из кабинета куда-то позвонил, и через некоторое время мы уже наблюдали за тем, как толстый человек, который обильно потел, потому что стоял на коленях и очень устал, это было видно, в пол-

ной тишине прослушивал сейф стетоскопом, нежно прикасался к нему, подбирая комбинацию и записывая ее на бумажке. Затем он с удовлетворенным видом распахнул сейф и не без труда поднялся, чтобы пропустить остальных. Внутри сейфа лежала Сториони, обнаженная, без футляра, и иронично смотрела на меня. Теперь настала очередь сеньора Беренгера. Помощник отца взял ее руками в перчатках, внимательно изучил под светом настольной лампы, потом поднял голову и правую бровь. И торжественно обратился к маме, к комиссару, к толстяку, утиравшему пот со лба, к шерифу Карсону, к Черному Орлу, вождю арапахо, и ко мне, стоявшему в дверях:

– Могу вас заверить, что это скрипка, известная под именем Виал, созданная Лоренцо Сториони. Без всякого сомнения.

– Без футляра? Она всегда хранилась без футляра? – спросил комиссар, дохнув табаком.

– Мне кажется, нет, – ответила мама. – Мне кажется, она хранилась в сейфе в футляре.

– Какой смысл взять футляр, открыть, оставить скрипку в сейфе, закрыть его, попросить учебную скрипку у сына и убрать ее в пустой футляр? А? – И комиссар обвел взглядом всех присутствующих.

Он задержал взгляд на мне: я стоял возле двери и старался скрыть, что меня трясет от страха. Le tremblement de la

panique¹⁰⁷. Несколько секунд он смотрел на меня, и в этом взгляде мне почудилось: он догадывается. Я подумал, что буду обречен говорить по-французски все свою ссучью жизнь. Не знаю, что произошло. Не знаю, чего хотел папа. Не знаю, почему он собирался идти в Атенеу, а оказался на улице Ар-рабассада. Знаю только, что это я подтолкнул его к гибели, и сегодня, пятьдесят лет спустя, продолжаю так думать.

11

В конце концов настал день, когда мама вынырнула из ко-лодца тоски и начала смотреть на мир. Я заметил это, когда во время ужина – за столом сидели мама, Лола Маленькая и я – она пристально посмотрела на меня, как будто хотела что-то сказать. Я задрожал, потому что был уверен, что мама сейчас скажет: я все знаю, знаю, что отец умер по твоей вине, и теперь расскажу полиции, убийца! А я: но, мама, если я и виноват, то я не хотел, я не... Лола Маленькая успокаивающе посмотрела на меня, потому что такая у нее была миссия в доме – успокаивать, и делала она это скупыми словами и жестами, Лола Маленькая, ты должна быть рядом со мной всю мою жизнь.

А мама продолжала смотреть на меня, и я не знал, что делать. Мне кажется, что после смерти отца мама возненави-

¹⁰⁷ Паническая дрожь (*фр.*).

дела меня. Да и до его смерти мы не были особенно близки. Любопытно: отчего мы дома были так холодны друг к другу? Я думаю, все, что происходит сейчас, уходит корнями в то, как отец устроил нашу жизнь. Тот ужин, когда мама молча смотрела на меня, был, вероятно, в апреле или мае. Не знаю, что хуже: мама, которая тебя не замечает, или мама, которая тебя обвиняет. Наконец она обрушила на меня свое ужасное обвинение:

– Как твои занятия скрипкой?

А я не знал, что ответить. Помню, меня от этого вопроса прошиб пот.

– Хорошо. Как всегда.

– Это меня радует. – Она не сводила с меня взгляда. – Ты доволен сеньоретой Трульолс?

– Да. Очень.

– А новой скрипкой?

– Ну.

– Что значит «ну»? Ты доволен или нет?

– Н-да.

– Н-да или да?

– Да.

Молчание. Я опускаю глаза. Лола Маленькая пользуется возникшей паузой, чтобы унести пустое блюдо из-под вареных бобов, и всем своим видом дает понять, что у нее очень много дел на кухне. Малодушная!

– Адриа.

Я смотрю на нее ничего не выражающим взглядом. Она смотрит на меня – как раньше. И спрашивает: как ты?

– Ну...

– Ты печален.

– Ну...

А теперь добить мальчишку, пальцем указав на его темную душу:

– Я мало уделяла тебе внимания в последнее время.

– Ничего.

– Нет, не ничего.

Лола Маленькая вернулась с блюдом жареной скумбрии. Эту еду я ненавидел больше всего. Мама, посмотрев на тарелку, скупно улыбнулась и сказала: прекрасно – скумбрия.

На этом разговор и мои мучения закончились. Тем вечером я съел всю скумбрию, которую положили мне на тарелку, а потом выпил стакан молока. Когда пришло время ложиться спать, я увидел, что мама наводит порядок в кабинете. По-моему, впервые после смерти отца. Для меня это не было пустым любопытством – я использовал любой предлог, чтобы заглянуть туда. На всякий случай я взял с собой Карсона. Мама сидела перед открытым сейфом – теперь мы знали шифр. Виал лежала снаружи. Мама вынимала бумаги, быстро просматривала их и складывала аккуратной стопкой на полу.

– Что ты ищешь?

– Документы. На магазин. На Тону.

– Я помогу тебе, если хочешь.

– Не надо, я и сама не знаю, что ищу.

Я был очень доволен: нас с мамой связала беседа, пусть короткая, но все же. У меня даже мелькнула мысль, что хорошо, что отец умер, – теперь мы с мамой можем разговаривать. Я не хотел так думать, оно как-то само подумалось. Одно могу сказать совершенно точно: с этого дня у мамы заблестели глаза.

Потом она вынула три или четыре коробочки и положила на стол. Я подошел. Она открыла одну: там лежала золотая авторучка с золотым пером.

– Ничего себе! – сказал я восхищенно.

Мама захлопнула коробочку.

– Оно золотое?

– Не знаю. Наверно.

– Я никогда его не видел.

– Я тоже. – И тут же замолчала.

Она закрыла коробочку с золотым пером, о существовании которого не имела понятия, и открыла другую – поменьше размером, зеленого цвета. Дрожащими пальцами она приподняла ватку розового цвета.

Спустя годы я понял, что жизнь у мамы была нелегкой. И что было не очень хорошей идеей выйти замуж за отца, даже учитывая, как элегантно он приподнимал шляпу, приветствуя ее, и говорил «как поживаешь, красавица?».

Она была бы гораздо счастливее с другим мужчиной – тем, что поступал бы не всегда рационально, совершал бы ошибки и смеялся просто так. В нашем доме все было подчинено суровой серьезности, сдобренной ноткой горечи, свойственной отцу. Я проводил дни в наблюдениях и был довольно умным ребенком, но, надо признать, только слышал звон, не зная, где он. Поэтому тот вечер стал для меня памятным: мне показалось, что мама вернулась ко мне. И потому я отважился спросить: можно мне заниматься на Виале, мама? Мама замерла. Она молча смотрела в стену, и я уже было подумал, что все кончено и она больше никогда не посмотрит на меня. Но она слабо улыбнулась и сказала: дай мне время подумать. У меня мелькнула мысль, что, похоже, наша жизнь начала меняться. И она изменилась, да, но вовсе не так, как мне хотелось бы. Однако, если бы все было иначе, я никогда не познакомился бы с тобой.

Ты замечала, что жизнь – одна сплошная непредсказуемая случайность? Из миллионов сперматозоидов отца лишь один достиг яйцеклетки и проник в нее. Так родилась ты, так родился я, все это огромная случайность. Могли бы родиться миллионы других существ, которые не были бы ни тобой, ни мной. То, что нам обоим нравится Брамс, тоже случайность. Что твоя семья пережила столько смертей и так мало родственников выжило – тоже случайность. Если бы наши гены (а затем и наши жизни) пошли бы по иному пути на миллионах разных перекрестков, невозможно было бы

написать все, что тут написано и что бог весть кто прочтет. Ужасная глупость!

С того вечера наша жизнь начала меняться. Мама проводила долгие часы, закрывшись в кабинете, словно заменив собой отца, только без лупы. Она навела порядок, перебрала все бумаги в сейфе – благодаря тому, что цифры шесть один пять четыре два восемь перестали быть тайной. Она так презирала стиль жизни отца, что даже не взяла на себя труд изменить шифр сейфа, за что я ей был очень благодарен, не зная толком почему. Мама часами разбирала бумаги или вела разговоры с какими-то незнакомыми людьми – то надевая очки для чтения, то снимая их. Все говорили очень тихо, очень серьезно, так что ни Карсон, ни даже молчаливый Черный Орел не могли расслышать ничего важного. Спустя несколько недель перешептываний, советов «на ухо», рекомендаций, вздергивания бровей, коротких комментариев и убедительных аргументов мама убрала всю эту кучу бумаг в сейф (шесть один пять четыре два восемь) и положила несколько документов в темную папку. И сменила комбинацию шифра. Она надела поверх черного платья черное же пальто, вдохнула поглубже, взяла эту темную папку и отправилась в магазин, где ее явно не ждали. Сесилия сказала: добрый день, сеньора Ардевол. А она прошла сразу в кабинет сеньора Ардевола. Без стука распахнула дверь и мягко положила руку на рычаги телефона, оборвав разговор сеньо-

ра Беренгера.

– Какого черта? – воскликнул он в изумлении.

Сеньора Ардевол улыбнулась и опустилась перед рассерженным сеньором Беренгером, сидевшим в сером кресле Феликса. Она положила на стол темную папку:

– Добрый день, сеньор Беренгер.

– Я разговаривал с Франкфуртом. – Он с досадой хлопнул ладонью по столешнице. – Мне такого труда стоило дозволиться туда!

– Я вынуждена была помешать вам. Нам нужно поговорить – вам и мне.

И они поговорили обо всем. Мама знала гораздо больше, чем, как предполагалось, должна была знать.

– Таким образом, половина вещей из магазина принадлежит мне.

– Вам?

– Лично мне. Наследство моего отца. Профессора Адриа Боска.

– Я понятия об этом не имел.

– Я до недавнего времени тоже. Мой муж не считал нужным посвящать меня в такие детали. У меня имеются документы, подтверждающие мои слова.

– А если вещи уже проданы?

– Что ж, мне полагаются комиссионные.

– Но это бизнес, так что...

– Вот об этом я и пришла поговорить. С этого момента

управлять магазином буду я.

Сеньор Беренгер смотрел на нее с открытым ртом. Она вежливо улыбнулась и сказала: хотелось бы посмотреть приходно-расходные книги. И немедленно.

Сеньор Беренгер промешкал минуту, затем встал и вышел в зал, где коротко и сухо переговорил с Сесилией, а вернувшись с кипой тетрадей в руках, обнаружил, что сеньора Ардевол сидит в сером кресле Феликса и делает жест, разрешающий ему войти.

Мама вернулась домой, вся дрожа. Она закрыла за собой дверь, сняла черное пальто, но сил повесить его не нашла. Оставив пальто на скамейке у входа, она ушла в свою комнату. Я слышал, как она плачет, и чувствовал, что нет смысла пытаться вникнуть в то, чего мне не понять. Потом мама недолго говорила о чем-то с Лолой Маленькой на кухне. Я видел, как та взяла ее за руку и сжала, словно желая приободрить. Мне понадобились годы, чтобы все встало на свои места в той картине, что и сейчас у меня перед глазами, словно полотно Хоппера¹⁰⁸. Все мое детство запечатлено у меня в голове, будто на диапозитивах с работами Хоппера, пронизанными ощущением одиночества. Я вижу себя персонажем одной из его картин: мальчик на неубранной кровати (забытая книга лежит на пустом стуле) смотрит в окно или разгля-

¹⁰⁸ Эдвард Хоппер (1882–1967) – американский художник-урбанист, мастер жанровой живописи.

дывает голую стену, сидя за пустым столом. У нас дома все было погружено в тишину, и если разговаривали, то только вполголоса, я не слышал звуков громче моей скрипки. Разве что стук каблуков, когда мама надевала туфли перед выходом на улицу. И если Хоппер говорил, что рисует, потому что не может выразить этого словами, то я пишу, потому что не могу нарисовать. Я всегда смотрю его глазами – в окно или через неплотно прикрытые двери. Я теперь знаю то, чего тогда не знал. Кое-что додумал сам, это правда. Я уверен, ты поймешь и простишь меня.

Спустя два дня сеньор Беренгер был вынужден перенести свои вещи обратно в каморку возле японских кинжалов. Сесилия, пряча довольную улыбку, делала вид, что страшно занята работой и не обращает внимания на всякие мелочи. С Франкфуртом по телефону говорила теперь мама. Принудив сеньора Беренгера освободить кабинет, она поставила ему мат ладьей и ферзем – так мне кажется. Его это яростное и неожиданное нападение заставило срочно искать пути выхода из ситуации. В антикварном магазине на улице Палья схватились гиганты и началась война, в которой все средства хороши.

Мама всегда выглядела тихой, кроткой, покорной, она никогда не повышала ни на кого голос, кроме меня. Но после смерти мужа сеньора Ардевол преобразилась и превратилась в женщину с несгибаемой волей и превосходного организатора – таких качеств я в ней даже заподозрить не мог.

Магазин изменил политику и начал торговать не только антиквариатом, но и добротными вещами не старше ста лет, что позволяло быстрее получить прибыль. Сеньор Беренгер был вынужден проглотить новое унижение от своей противницы: ему пришлось благодарить ее за повышение жалованья. Тем не менее разговаривали с ним очень холодно и пообещали обстоятельный разговор в самом ближайшем будущем. Мама трудилась в магазине целыми днями, и когда смотрела в мою сторону, то опять молчала. Я понял, что в моей жизни наступают трудные времена.

Тогда я ничего не знал о делах мамы. Мне стоило больших усилий узнать о них хоть что-то. Дома что-то объясняли, только когда уже не было другого выхода, предпочитая все доверять бумаге, лишь бы избежать прямого разговора. Я не сразу понял, что мама вообразила себя новой Магдаленой Жиралт¹⁰⁹. Правда, ей не пришлось требовать голову мужа – ее отдали сразу, как только нашли.

Что она требовала, так это голову убийцы своего мужа. Каждую среду, оставив дела и одевшись во все черное, она шла в комиссариат, занимавшийся этим делом, спраши-

¹⁰⁹ *Магдалена Жиралт* – супруга генерала Жузепа Морaguesa-и-Маса, каталонского национального героя Войны за испанское наследство, оказывавшего сопротивление центральной власти Испании. Он был схвачен и 27 марта 1715 г. жестоко казнен: сначала повешен, затем обезглавлен и четвертован. Его голова была вывешена в клетке над Морскими воротами в Барселоне, где провисела до 1727 г., несмотря на прошения и ходатайства вдовы генерала.

вала комиссара Пласенсию, и ее провожали в насквозь пропахший табаком кабинет, где она требовала ответа за смерть мужа, который никогда ее не любил. Она здоровалась и неизменно задавала один и тот же вопрос: какие новости в деле Ардевола? А комиссар неизменно, не предложив ей сесть, отвечал: пока новостей нет, сеньора. Я уже говорил, что мы известим вас, если что-то изменится.

– Нельзя же обезглавить человека и не оставить никаких следов.

– Вы обвиняете нас в некомпетентности?

– Я обращаюсь за справедливостью в вышестоящие инстанции.

– Вы мне угрожаете?

– Всего доброго, комиссар.

– Всего доброго, сеньора. И помните, что мы известим вас, как только будут новости.

Черная вдова выходила из кабинета, и комиссар начинал со злостью выдвигать и задвигать верхний ящик стола. А инспектор Оканья заходил, не спросив разрешения, и спрашивал: опять являлась эта липучка? Комиссар не удостоивал его ответа, а лишь периодически усмехался, вспоминая, как странно звучит испанский столь элегантной дамы. И так – из среды в среду, неделя за неделей. Каждую среду, в то время, когда каудильо¹¹⁰ давал аудиенции во двор-

¹¹⁰ *Каудильо* – в 1939–1975 гг. официальный титул главы государства в Испании – генералиссимуса Ф. Франко.

це Прадо, а папа Пий XII давал свои в Ватикане, комиссар Пласенсия принимал черную вдову, выслушивал ее, а когда она уходила – вымещал свою злость, с силой выдвигая и задвигая верхний ящик стола.

Когда сеньоре Ардевол это надоело, она заключила договор с лучшим детективом в мире, как следовало из плаката, висящего в его приемной – такой крошечной, что вызывала клаустрофобию. Лучший детектив в мире потребовал плату за месяц вперед и пока что прекратить ходить в комиссариат. Сеньора Ардевол заплатила, набралась терпения и воздержалась от визитов к комиссару. Месяц спустя, просидев некоторое время в тоскливой приемной, она во второй раз встретила с лучшим детективом в мире.

– Присаживайтесь, сеньора Ардевол!

Лучший детектив в мире не встал, однако подождал, пока клиентка сядет в кресло. Итак, они оба сидели по разные стороны стола.

– Ну что мы имеем? – спросила она нетерпеливо.

Лучший детектив в мире вместо ответа минуту барабанил пальцами по столу – видимо, в такт работе своего мозга, а может, и нет, ибо мыслительный процесс лучших детективов в мире не поддается расшифровке.

– Так все-таки? Что мы имеем? – повторила мама, начиная выходить из себя.

Но на той стороне стола продолжали отстукивать пальцами ритм. Мама прочистила горло, кашлянула и ледяным то-

ном, словно перед ней сидел сеньор Беренгер, спросила: зачем вы вызвали меня, сеньор Рамис?

Рамис. Лучшего детектива в мире звали Рамис. До этой минуты я и не помнил, как его звали. Детектив Рамис поднял глаза на свою клиентку и наконец ответил: я отказываюсь от дела.

– Что?

– Вы слышали. Я отказываюсь от дела.

– Но вы взяли его несколько дней назад.

– Прошел уже месяц.

– Я не позволю вам так все бросить. Я заплатила и имею право на...

– Если вы прочтете контракт, – сухо оборвал он ее, – то увидите, что в разделе двенадцать приложения прописана возможность его расторжения по обоюдному согласию.

– И в чем причина вашего отказа?

– Я очень загружен.

Тишина в кабинете. Тишина во всей конторе. Не стучит ни одна пишущая машинка.

– Я вам не верю.

– Простите?

– Вы мне врите. Почему вы отказываетесь от дела?

Лучший детектив в мире поднялся, достал из ящика конверт и положил на стол перед мамой:

– Я возвращаю вам гонорар.

Сеньора Ардевол встала, презрительно посмотрела

на конверт и, не тронув его, вышла из кабинета, громко стуча каблуками. Она с силой захлопнула за собой дверь – так, что центральное стекло вылетело из рамы и осыпалось осколками.

Все это – с деталями, которые сейчас не приходят мне на ум, – я узнал много позже. Вместо этого я помню, что тогда уже читал достаточно сложные тексты на немецком и английском. Мне это всегда казалось совершенно естественным, однако позже, наблюдая за другими, я понял, что языки мне даются легче. Французский – без проблем. Итальянский я выучил сам, пусть и говорил с акцентом. На латыни читал *De bello Gallico*¹¹¹, не говоря уже об испанском и каталанском. Мне хотелось начать учить русский или арамейский, но мама вошла в комнату и сказала: даже не заикайся об этом. Достаточно и тех языков, которые ты уже знаешь, а в жизни нужно заниматься чем-то еще, а не только учить языки, словно попугай.

– Мама, но попугай...

– Ты слышал, что я сказала. И ты меня понял.

– Нет, не понял.

– Ну так постарайся.

Я постарался. Мне было страшно оттого, что мама хотела поменять течение моей жизни. Очевидно, она бы с радостью

¹¹¹ «Записки о галльской войне» (лат.) – сочинение Гая Юлия Цезаря, ставшее непременным чтением для изучающих латынь.

стерла все следы отца в моем образовании. Поэтому она вынула из сейфа (у замка был новый код, его знала только мама – семь два восемь ноль шесть пять) Сториони и вручила мне со словами: с начала месяца ты больше не будешь ходить в консерваторию к сеньорете Трульолс и станешь учеником Жуана Манлеу.

– Что?

– Ты слышал, что я сказала.

– Кто это – Жуан Манлеу?

– Лучший преподаватель по классу скрипки. Ты станешь виртуозом.

– Я не хочу становиться виртуозом.

– Ты сам не знаешь, чего хочешь.

Вот тут мама ошибалась. Я знал, что хотел бы быть... Согласен, планы отца на мой счет не совсем меня устраивали: целыми днями изучать то, что написали другие, анализировать различные культурные материи... Нет, на самом деле меня это не устраивало. Но мне нравилось читать и учить новые языки и... Хорошо, согласен. Я сам не знаю, чего хочу.

– Я не хочу становиться виртуозом.

– Маэстро Манлеу сказал, что хочешь.

– И как он об этом узнал? Он ясновидящий?

– Он несколько раз слышал, как ты играешь.

Оказалось, мама тщательно спланировала, как убедить Жуана Манлеу стать моим учителем. Она пригласила его на скромный чай во время моего урока скрипки. Тогда

они мало говорили, но много слушали. Маэстро Манлеу быстро сообразил, что может просить за уроки сколько хочет, и не замедлил сделать это. Мама не стала торговаться и немедленно заключила с ним договор. Все произошло так быстро, что никому и в голову не пришло спросить мнение Адриа.

– А что я скажу Трульолс?

– Сеньорета Трульолс уже знает.

– Вот как? И что она сказала?

– Что ты – алмаз, нуждающийся в огранке.

– Не хочу. Я не знаю. Я не согласен. Нет. Однозначно и определенно – нет, нет, нет. – Это был тот редкий случай, когда я начал кричать. – Ты меня поняла, мама? Нет!

Со следующего месяца я стал заниматься у маэстро Манлеу.

– Ты станешь великим скрипачом, и точка, – сказала мама, когда я убеждал ее оставить Сториони на всякий случай дома, и я пошел в новую жизнь, неся в футляре Паррамон¹¹².

Адриа послушно принял реформу своего образования. Но иногда мечтал сбежать из дома.

12

То одно, то другое – после смерти отца я долго не хо-

¹¹² *Паррамон* – фамилия известного дома лютье в Барселоне, работающего с 1897 г.

дил в школу. Несколько недель – очень странных – я провел в Тоне, с двоюродными братьями. Они вели себя тише воды и исподтишка поглядывали на меня, когда думали, что я их не вижу. Однажды я услышал, как Щеви и Кико вполголоса обсуждают обезглавливание, но делали это так увлеченно, что их шепот был слышен отовсюду. А Роза за завтраком протягивала мне самый толстый ломоть хлеба, чтобы его не схватил кто-нибудь из ее братьев. Тетя Лео все время гладила меня по голове, и я думал, ну почему нельзя жить в Тоне рядом с тетушкой, где жизнь похожа на летние каникулы, где можно пачкать колени в грязи и никто тебя за это не ругает. А дядя Синто возвращался домой, перепачканный пылью или навозом, все время ходил опустив голову, потому что мужчины не должны плакать, но было видно, что он потрясен смертью брата. Смертью и ее обстоятельствами.

В Барселоне, прежде чем в мою жизнь вошел великий Жуан Манлеу, я вернулся в школу, где обрел новый статус – статус ребенка, потерявшего отца. Брат Климен проводил меня в класс, больно схватив за плечо желтыми от табака пальцами. Таким образом, он выражал мне соболезнования и утешение. Перед дверью он сделал широкий жест и сказал, чтобы я не боялся входить, потому что учитель обо всем предупрежден. Я шагнул в комнату, и сорок три пары глаз уставились на меня с любопытством, а сеньор Бадиа, объяснявший тонкое различие между подлежащим и прямым дополнением, остановился на полуслове и сказал: проходи, Ардевол,

садись. На доске выведена мелом фраза: «Хуан пишет письмо Педро». Чтобы сесть за парту, нужно было пересечь весь класс. Пока я шел, меня захлестнуло жгучее чувство стыда. Как бы мне хотелось, чтобы здесь был Бернат, но это невозможно, ведь он на класс старше. Как же мне надоело слушать все эти глупости про прямое и косвенное дополнение, которые нам вдалбливали еще и на латыни и которые, как ни удивительно, некоторые так и не могли усвоить. Где здесь прямое дополнение, Руль?

– Хуан? – Молчание. Сеньор Бадиа настойчив. Руль, заподозрив в вопросе подвох, глубоко задумался, опустив голову. – Педро?

– Нет. Это бесполезно. Ты ничего не понимаешь.

– А нет! Дополнение – пишет!

– Садись, ужасно.

– Я понял! Учитель, я понял – это письмо. Разве нет?

Когда назначение прямого дополнения объяснено со всех сторон и мы погружаемся во мрак косвенного дополнения, я замечаю, что несколько человек пристально смотрят на меня. Это Массана, Эстебан, Рьера, Торрес, Эскайола, Пужол и, если судить по покалыванию в затылке, Буррель. И кажется, это взгляды... восхищенные. Странное чувство.

– Слушай, парень... – сказал мне Буррель на перемене. – Пойдем играть с нами. – И, предчувствуя ужасное: – Только вставай в центр, чтобы мешать пройти к воротам, ладно?

– Ну, мне, вообще-то, не нравится футбол.

– Видишь? – немедленно вклинился Эстебан, стоявший рядом. – Ардевол только на скрипке играет. Я же говорил, что он – *marica*¹¹³. – И он торопливо убежал, потому что игра уже началась.

Буррель хлопнул меня по спине и молча ушел. Я кинулся искать Берната посреди мельтешения перво-, второ– и трехклассников, которые заполнили весь двор и, поделив его на куски, играли в футбол, стараясь не перепутать мячи. *Marica*... Что такое *marica*? Русские говорят Марика тем девушкам, которых зовут Мария. Но я совершенно уверен, что Эстебан не знает русского.

– *Marica*? – Бернат уставился вдаль, размышляя под дикие крики футболистов. – Нет. Русские говорят Мариша, обращаясь к Мариям.

– Это я знаю.

– В общем, загляни в словарь. Посмотрим, найдешь ли ты там объяснение всего, что...

– Ты знаешь или не знаешь?

Дни стояли очень холодные, и у всех в той или иной степени руки и ноги были покрыты цыпками, кроме нас с Бернатом. Мы всегда носили перчатки, выполняя указание Трульолс, потому что для потрескавшихся рук скрипка превращалась в орудие жестокой пытки. А вот струпья, появлявшиеся от холода на ногах, играть совсем не мешают.

¹¹³ Педик (*исп.*).

Первые дни в школе после смерти отца были особенными. После того как Риера открыто сказал о голове моего отца, стало ясно, что я поднялся в глазах одноклассников чрезвычайно высоко. Мне простили мои «странности», и я стал таким же, как все. Когда учителя задавали вопрос классу, Пу-жол уже не говорил, что отвечать буду я, все просто сидели с отсутствующим видом. Наконец однажды падре Валеро, чтобы прервать тягостную тишину, сказал: ну же, Ардевол, и я сказал правильный ответ. Но это было не так, как раньше.

Да, Бернат слукавил и так и не признался, что не знает, что это за слово такое – *marica*. Однако он был моей опорой, особенно со дня смерти отца. Он составлял мне компанию и помогал чувствовать себя не так странно. Это потому, что он тоже был не совсем обычным мальчиком, непохожим на остальных в школе – обычных, которые ссорились, мирились, а те, что учились в четвертом и пятом классах (по крайней мере, некоторые из них), тайком курили. Он был из другого класса, и мы не слишком часто виделись в школе, предпочитая держать нашу дружбу в секрете. В тот день, сидя на моей кровати, совершенно ошеломленный, мой друг был готов заплакать, потому что новость оказалась слишком серьезной. Он посмотрел на меня с ненавистью и сказал, что это предательство. А я ответил, что нет, Бернат, это решение моей мамы.

– Ты что, не можешь устроить бунт, а? Не можешь сказать, что будешь ходить к Трульолс, потому что иначе...

Потому что иначе мы не будем ходить на занятия вместе, хотел он сказать. Но не стал, чтобы не показаться маленьким мальчиком. И злые слезы в его глазах все сказали лучше слов. Это так сложно – быть мальчиком и при этом изображать из себя сурового мужчину, которому наплевать на все, на что плюют настоящие мужчины. И хотя на самом деле тебе вовсе не наплевать, ты должен изображать безразличие, иначе тебя засмеют и скажут: Бернат, Адриа – маленькие мальчики. А если это Эстебан, то: девчонка! девчонка из девчонок! Хотя нет, он скажет: *marica*, самый настоящий *marica*! Вместе с первыми усиками начинает расти уверенность, что жизнь – чрезвычайно сложная штука. Но пока все еще не так сложно, как будет потом.

Полдничали мы молча. Лола Маленькая дала нам по две плитки шоколада каждому. И мы сидели молча: жевали хлеб, сидя на кровати, и думали про свое сложное будущее. А потом начали делать упражнения на арпеджио: мы играли каноном. Так делать упражнения веселее. Но самим нам было очень грустно.

– Гляди, гляди, гляди!

Бернат, ошарашенный, положил смычок на пюпитр и подошел к окну комнаты Адриа. В мире все переменялось, вина уже была не такой огромной, друг мог как угодно поступать со своим преподавателем скрипки, кровь вновь побежала по жилам. Через форточку Бернату была видна комната напротив – освещенная и с незадернутой занавеской.

А там – грудь раздетой женщины. Раздетая? Кто это? А? Это Лола Маленькая. Комната Лолы Маленькой. Голая Лола Маленькая! Ничего себе. Там, в глубине. Она переодевается. Должно быть, собирается на улицу. Голая? Адриа показало, что... видно не очень хорошо, но отдернутая занавеска подстегивала воображение.

– Это квартира соседей. Я с ней не знаком, – ответил я скучным голосом, начиная с одной восьмой затакта, теперь звучать эхом был должен Бернат. – Посмотрим, как получится теперь.

Бернат не возвращался к пюпитру до тех пор, пока Лола Маленькая полностью не оделась. Упражнения пошли довольно хорошо, но Адриа был расстроен интересом Берната к женщине в окне и еще тем, что самому ему не понравилось смотреть на Лолу... Женская грудь была... Он впервые ее видел, потому что занавеска...

– Ты когда-нибудь видел голую женщину? – спросил Бернат, когда они закончили заниматься.

– Ну, теперь видел, нет?

– Это не считается – плохо было видно. А чтоб по-настоящему? И целиком.

– Представляешь себе голую Трульолс?

Я сказал это, просто чтобы отвлечь внимание от Лолы Маленькой.

– Не говори глупостей!

Я представлял ее много раз не потому, что она была кра-

савица. Она была уже в возрасте, очень худая, с длинными пальцами. У нее был красивый голос, а еще она смотрела на тебя, когда говорила. А вот когда она играла на скрипке – да, тогда я представлял ее голой. Но виноваты были звуки, которые она извлекала смычком, – такие прекрасные, такие... Вся моя жизнь – какая-то смесь всего. Я не горжусь этим, скорее признаю со смирением. До того как ты мне это предложила, я и не думал раскладывать все по полочкам и все было перемешано, как перемешано сейчас, когда я пишу и слезы служат мне чернилами.

– Не переживай, Адриа, – сказала мне Трульолс. – Манлеу – прекрасный скрипач. – И потрепала меня по волосам.

Я на прощание сыграл ей первую сонату Брамса, а когда закончил, она поцеловала меня в лоб. Трульолс – она такая. Я не слышал, что она говорит о том, что Манлеу – прекрасный скрипач и что мне не нужно волноваться: Адриа, не переживай, Манлеу – прекрасный педагог. И Бернат, двуличный, сделал вид, что ему все равно и он не собирается плакать. А у меня вот потекли по щекам слезы. Господи боже мой! Он чувствовал такую вину, что, когда они пришли к дому Берната, Адриа сказал: я дарю тебе Сториони. Бернат: взаправду? А Адриа: конечно, на память обо мне. Взаправду? – снова спросил Бернат, не веря своим ушам. Зуб даю. А твоя мама что скажет? Ей не до того. Она целые дни проводит в магазине. На завтра Бернат пришел домой, и сердце его стучало бум-бум-бум, словно колокола во время торжествен-

ной мессы праздника Рождества Божией Матери. Он подошел к маме и сказал: мама, у меня сюрприз. И открыл футляр. Сеньора Пленса ощутила дух несомненно антикварной вещи и, с оборвавшимся сердцем, спросила: где ты взял эту скрипку, сынок? А он, сразу потеряв запал, ответил, как Кэсседи Джеймс, когда Дороти поинтересовалась, откуда у него эта лошадь:

– Это очень долгая история.

И был прав. Европа пахла гарью пожарищ и пылью разрушенных стен. Рим тоже. Он пропустил американский джип, несущийся на большой скорости по пустынным улицам, не тормозя перед перекрестками, и быстрыми шагами дошел до базилики Святой Сабины¹¹⁴. Там Морлен сказал ему: Ufficio della Giustizia e della Pace¹¹⁵. Консьерж – некий синьор Фаленьями. И будь начеку: может быть опасно.

– Почему опасно?

– Потому что он не из тех, кто «светится». У него проблемы.

Феликс Ардевол не стал тянуть и нашел это бюро, расположенное в самом центре района Борго. Дверь открыл тучный, высокий человек, с большим носом и беспокойным взглядом. Он спросил: кого вы ищете?

– Боюсь, что вас, синьор Фаленьями.

– Почему вы так говорите? Чего вы боитесь?

¹¹⁴ Базилика Святой Сабины – главная церковь ордена доминиканцев в Риме.

¹¹⁵ Папский совет по вопросам справедливости и мира (*um.*).

– Ничего, это просто фигура речи. – Феликс Ардевол попробовал улыбнуться. – Я так понимаю, что у вас есть интересная вещь для меня.

– В шесть вечера я закрою бюро. – Он кивнул в сторону стеклянной двери, через которую сочился печальный свет. – Ждите снаружи, на улице.

В шесть на улицу вышли три человека, один из них был в сутане. Феликс почувствовал себя словно на тайном любовном свидании. Как много лет назад, когда у него еще были иллюзии и мечты и яблоки из римской лавки синьора Амато напоминали ему о земном рае. Затем появился тот человек с беспокойным взглядом и сделал ему знак войти.

– Мы не пойдем к вам домой?

– Я живу тут.

Они поднялись по почти совершенно темной главной лестнице. Их шаги гулко отдавались во тьме этого странного здания, а синьор Фаленьями еще и тяжело дышал. На третьем этаже они прошли по длинному коридору, и вдруг его спутник открыл какую-то дверь и зажег тусклую лампочку. В нос ударил тяжелый запах.

– Проходите, – сказал консьерж.

Узкая койка, шкаф из темного дерева, заложненное окно, раковина в углу. Толстяк открыл шкаф и из его недр извлек скрипичный футляр. Положил его на кровать, которая заменяла ему стол, и открыл. Тогда Феликс Ардевол впервые увидел ее.

– Это Сториони, – сказал человек с беспокойным взглядом.

Сториони. Феликсу Ардеволу это ни о чем не говорило. Он понятия не имел, что Лоренцо Сториони, закончив работу, нежно погладил ее кожу и ему показалось, что инструмент дрожит от прикосновений. И что в тот момент он решил показать ее доброму мастеру Зосимо.

Толстяк с беспокойным взглядом зажег лампу на тумбочке и пригласил Феликса приблизиться к инструменту. *Laurentius Storioni Cremonensis me fecit*, прочел он вслух.

– Откуда мне знать, что она настоящая?

– Я прошу за нее пятьдесят тысяч американских долларов.

– Это не доказательство.

– Это цена. У меня проблемы и...

Он видел столько людей в затруднительных обстоятельствах. Но трудности конца войны – совсем не те, что в тридцать восьмом или тридцать девятом году. Он вернул скрипку толстяку и почувствовал в сердце невероятную пустоту. Таковую же, как шесть или семь лет тому назад, когда держал в руках скрипку Николо Гальяно¹¹⁶. С каждым разом он все больше убеждался, что эти инструменты словно сами говорят о своей ценности и пульсируют в руках как живые. Вот это – да, это настоящая проверка на подлинность. Но сеньор Ардевол, когда на кон поставлены такие деньги, не мог

¹¹⁶ Николо Гальяно (1740–1780) – представитель семьи известных скрипичных мастеров в Неаполе.

доверять лишь интуиции и какой-то поэтической пульсации. Поэтому он постарался сохранить холодность и быстро произвел в уме трезвый расчет. А затем улыбнулся:

– Я вернусь завтра с ответом.

Это было скорее объявление войны, чем ответ. Ночью он переговорил в комнате Браманте с отцом Морленом и многообещающим молодым человеком по имени Беренгер. Это был высокий худой юноша, дотошный и, как видно, сведущий во многих областях.

– Берегись, Ардевол, – настаивал отец Морлен.

– Я знаю правила игры в этой жизни, дорогой.

– Одно дело – что кажется, а другое – что в реальности. Заключи с ним сделку, получи свою выгоду, но не унижай его. Он – опасен.

– Я знаю, что делаю. Уверяю тебя!

Отец Морлен больше не настаивал, но остальную часть встречи просидел молча. Беренгер – юноша, подающий большие надежды, – знал трех скрипичных мастеров в Риме, но доверия, по его мнению, заслуживал только один, Саверио Носеке. Двое других...

– Приведи мне его завтра.

– Обращайтесь ко мне на «вы», сеньор Ардевол.

Назавтра сеньор Беренгер, Феликс Ардевол и Саверио Носеке стучали в комнату толстяка с беспокойными глазами. Они вошли, лучась коллективной улыбкой, стойко перетерпев тяжелый запах, царящий в комнате. Синьор Саверио Но-

секе провел полчаса, изучая скрипку: рассматривал ее в лупу и проводил с ней еще какие-то сложные манипуляции при помощи инструментов, которые принес с собой во врачебном саквояже. Потом слушал, как она звучит.

– Падре Морлен сказал мне, что вам можно доверять, – сказал Фаленьями, охваченный беспокойством.

– Можно. Но я не хочу, чтобы меня ободрали как липку.

– Цена не чрезмерная. Она стоит этих денег.

– Я заплачу столько, сколько посчитаю нужным, а не то, сколько вы называете.

Синьор Фаленьями взял записную книжку и что-то поместил. Затем закрыл ее и беспокойно уставился на Ардевола. Поскольку в комнате не было окна, они смотрели на *dottore*¹¹⁷ Носеке. Тот легонько постукивал по дереву инструмента, прослушивая его фонендоскопом.

Они покинули эту убогую комнатенку уже вечером. Носеке шел торопливо, глядя прямо перед собой и что-то бормоча под нос. Феликс Ардевол искоса поглядывал на сеньора Беренгера, который делал вид, что все происходящее его абсолютно не интересует. Подходя к виа Кресченсио, сеньор Беренгер вдруг отрицательно мотнул головой и остановился. Его спутники тоже невольно остановились.

– Что случилось?

– Нет, это слишком опасно.

– Это подлинный Сториони. – Саверио Носеке выделил

¹¹⁷ Доктор (*um.*).

голосом «подлинный». — И я вам больше скажу...

— Почему вы говорите, что это опасно, сеньор Беренгер? — Феликсу Ардеволу начинал нравиться этот человек, пусть и слегка высокомерный.

— Когда волка обносят красными флажками, он делает все, чтобы спастись. Но потом может укусить.

— Что вы еще хотели сказать, синьор Носеке? — Феликс, с холодеющим сердцем, повернулся к скрипичному мастеру.

— Кое-что еще.

— Ну так говорите!

— У этой скрипки есть имя. Ее зовут Виал.

— Простите?

— Это — Виал.

— Вот теперь я точно ничего не понимаю.

— Это ее имя. Ее так зовут. Существуют инструменты, у которых есть собственное имя.

— Это придает им дополнительную ценность?

— Речь не об этом, синьор Ардевол.

— Еще как об этом! Итак, она более ценная?

— Это первая скрипка, которую он создал. Еще бы она не была ценной!

— Кто создал?

— Лоренцо Сториони.

— Откуда у нее такое имя? — с интересом спросил сеньор Беренгер.

— В честь Гийома-Франсуа Виала, убийцы Жана-Мари

Синьор Носеке сделал жест, который напомнил Феликсу святого Доминика, возвещающего с кафедры о бесконечности доброты Божией. И Гийом-Франсуа Виал выступил из тени, чтобы его увидел человек, сидевший в карете. Кучер остановил лошадей прямо перед ним. Дверца открылась, и месье Виал сел в карету.

– Добрый вечер, – поздоровался Ла Гит.

– Можете отдать мне ее, месье Ла Гит. Мой дядя согласен с вашей ценой.

Ла Гит рассмеялся в глубине салона, гордый своей прозорливостью. Но уточнил на всякий случай:

– Мы с вами говорим о пяти тысячах флоринов.

– Мы с вами говорим о пяти тысячах флоринов, – подтвердил месье Виал.

– Завтра скрипка знаменитого Сториони будет у вас в руках.

– Не надо морочить мне голову, месье Ла Гит: Сториони вовсе не знаменит.

– В Италии – в Неаполе, во Флоренции только о нем и говорят.

– А в Кремоне?

– Бергонци и его окружение не слишком довольны появлением нового мастера. Все говорят, что Сториони – это но-

¹¹⁸ Жан-Мари Леклер (1697–1764) – скрипач и композитор, считающийся основоположником французской скрипичной школы.

вый Страдивари.

Они поговорили еще немного. О том, что, быть может, появление нового мастера несколько снизит цены на инструменты, а то они стали просто заоблачными. Да, заоблачными – точнее не скажешь. Они попрощались. Виал вышел из экипажа, оставив Ла Гита в уверенности, что в этот раз все удалось.

– Mon cher tonton!..¹¹⁹ – с энтузиазмом воскликнул Гийом-Франсуа на следующий день, рано утром входя в комнату. Жан-Мари Леклер не соизволил даже голову поднять, продолжая наблюдать за игрой пламени в камине. – Mon cher tonton! – повторил Виал, уже не так бодро.

Леклер обернулся. Не глядя племяннику в глаза, он спросил, принес ли тот скрипку. Виал положил ее на стол. Леклер тут же протянул руки к инструменту. От стены отделилась тень носатого слуги со смычком. Леклер несколько минут пробовал на Сториони разные варианты звучания, исполняя фрагменты из своих сонат.

– Очень хорошо, – сказал он удовлетворенно. – Сколько ты заплатил?

– Десять тысяч флоринов плюс вознаграждение в пятьсот монет, которое вы мне обещали за то, что я нашел для вас это сокровище.

Властным жестом Леклер отослал слуг. Потом положил руку племяннику на плечо и улыбнулся:

¹¹⁹ Мой дорогой дядюшка! (*фр.*)

– Ты – сукин сын. Не знаю, в кого ты пошел, шелудивый щенок. В свою матушку или, может, к несчастью, в своего папашу. Вор, жулик!

– За что? Я ведь... – Их взгляды встретились. – Ну хорошо, я могу отказаться от вознаграждения.

– Ты действительно думаешь, что можно годами надувать меня и я буду слепо верить тебе?

– Но тогда зачем вы поручили...

– Чтобы испытать тебя, тупой ублюдок блохастой суки. На этот раз тебе не избежать тюрьмы. – Он сделал многозначительную паузу. – Ты даже не представляешь, как я ждал этого момента.

– Вы всегда жаждали моего падения, дядюшка Жан. Вы завидуете мне.

Леклер удивленно посмотрел на племянника. И после долгого молчания произнес:

– Я завидую тебе, шелудивому щенку?

Виал покраснел как рак. В голове у него помутилось, парировать выпады дядюшки он не мог.

– Будет лучше, если мы не станем вникать в детали, – произнес он, только чтобы хоть что-то сказать.

Леклер посмотрел на него с презрением:

– А по мне, так самое время вникнуть в детали. Чему я завидую? Внешности? Сложению? Влиянию в обществе? Обаянию? Таланту? Моральным качествам?

– Разговор окончен, дядюшка Жан.

– Он закончится, когда я сочту нужным! Ну, чему же я завидую? Уму? Образованию? Богатству? Здоровью?

Леклер взял скрипку и сымпровизировал пиццикато. С уважением посмотрел на инструмент:

– Скрипка необычайно хороша, но это не имеет значения, понятно? Я хочу одного – отправить тебя в тюрьму.

– Значит, плохой из вас родственник!

– А ты – мерзавец, которого я наконец вывел на чистую воду. Знаешь что? – Он широко улыбнулся, приблизив лицо почти вплотную к лицу племянника. – Скрипка достанется мне, но за ту цену, которую назначил Ла Гит.

Леклер дернул за шнурок звонка. В комнату из дальней двери вошел носатый слуга.

– Ступай к комиссару, пусть придет поскорее.

И бросил племяннику:

– Сядь, подождем месье Бежара.

Но они не сели. Гийом-Франсуа Виал, направляясь к креслу, прошел мимо камина, схватил кочергу и ударил по голове любимого дядюшку. Жан-Мари Леклер Старший не сказал больше ничего. Без единого стога он рухнул на пол, кочерга так и осталась торчать у него в черепе. Капля крови упала на деревянный футляр со скрипкой. Виал, тяжело дыша, отер руки о камзол и произнес: ты не представляешь, как я ждал этого момента, дядюшка Жан. Затем огляделся, схватил скрипку, уложил в испачканный кровью футляр и вышел на террасу. Несясь через сад средь бела дня, Виал подумал,

что стоит нанести визит – отнюдь не дружеский – Ла Гиту.

– Насколько мне известно, – продолжал синьор Носеке, стоя посреди улицы, – на этом инструменте не играли хоть сколько-нибудь регулярно. Как и на Мессии Страдивари¹²⁰. Вы понимаете меня?

– Нет, – ответил Ардевол нетерпеливо.

– Я говорю вам о том, что эти обстоятельства придают ей еще большую ценность. След этого инструмента теряется сразу после создания, когда она попала в руки Гийома-Франсуа Виала. Возможно, на нем кто-то и играл, но сказать об этом с уверенностью не могу. А теперь он вдруг появляется здесь. Эта скрипка бесценна.

– Это я и хотел от вас услышать, caro dottore¹²¹.

– В самом деле она появилась впервые? – с любопытством спросил сеньор Беренгер.

– Да.

– И все-таки я должен предупредить вас, сеньор Ардевол. Это большие деньги.

– Она того стоит? – спросил Феликс Ардевол, глядя на Носеке.

¹²⁰ Речь идет о скрипке Страдивари, созданной им в 1716 г. Инструмент остался в его мастерской до смерти мастера в 1737 г. Имя этой скрипке дал французский музыкант Жан-Дельфен Аляр, сказавший: «Этот инструмент похож на Мессию: Его явления всегда ждут, но Он никак не появляется». Ныне Мессия находится в коллекции Эшмоловского музея искусства и археологии (Оксфорд) и считается самой сохранной скрипкой Страдивари, на которой мало играли.

¹²¹ Дорогой доктор (*um.*).

– Я бы заплатил не глядя. Если бы такие деньги у меня были. У нее восхитительный звук.

– Мне плевать, какой у нее звук.

– Да, но еще и исключительная символическая ценность!

– Вот это действительно имеет значение.

– Мы сейчас же вернем ее хозяину.

– Но он мне ее подарил! Клянусь, папа!

Сеньор Пленса надел пальто, сделал незаметный знак глазами жене, взял футляр и энергичным кивком приказал Бернату идти за ним.

Бернат чувствовал себя так, словно в траурном молчании шел за гробом на похоронах. Он проклинал тот миг, когда решил похвастаться перед мамой и показать ей настоящий инструмент Сториони. А та сразу же позвала: иди-ка сюда, Жуан, посмотри, что принес наш сын. Сеньор Пленса помолчал несколько минут, рассматривая скрипку, после чего воскликнул: чтоб мне провалиться, где ты ее взял?

– У нее волшебный звук, папа!

– Да, но я спрашиваю, где ты ее взял?

– Жуан, пожалуйста!

– Давай, Бернат! Это все не шутки. – И нетерпеливо повторил: – Где ты ее взял?

– Нигде. То есть мне ее дали. Ее владелец мне ее отдал.

– И как же зовут этого идиота?

– Адриа Ардевол.

– Это скрипка Ардеволов?

Молчание. Родители переглянулись. Папа вздохнул, взял скрипку, спрятал ее в футляр и сказал: мы сейчас же вернем ее хозяину.

13

Дверь открыл я. На пороге стояла женщина моложе мамы. Очень высокая, с красивыми накрашенными глазами — она вызывала симпатию и понравилась мне. Нет, на самом деле — больше чем понравилась, я влюбился в нее сразу и навсегда. И тотчас захотел увидеть ее раздетой.

— Ты — Адриа?

Откуда она знает мое имя? И еще этот акцент... удивительно.

— Кто там? — крикнула Лола Маленькая из глубины квартиры.

— Не знаю, — ответил я, с улыбкой глядя на это явление.

Гостья улыбнулась мне в ответ, подмигнула и спросила, дома ли мама.

Лола Маленькая вошла в прихожую. Прекрасная незнакомка, как мне показалось, решила, что это и есть мама.

— Это Лола Маленькая, — пояснил я.

— Синьора Ардевол дома? — спросила женщина ангельским голосом.

— Вы — итальянка! — предположил я.

— Прекрасно! Мне говорили, что ты очень способный

мальчик.

– Кто говорил?

Мама с утра пораньше разбиралась с делами в магазине, но прекрасная незнакомка сказала, что ей не составит труда подождать. Лола Маленькая сухо указала ей на банкетку и ушла. Гостя села, глядя на меня. Я заметил маленький, очень красивый золотой крестик у нее на шее. Женщина спросила: *come stai?*¹²² Я ответил с радостной улыбкой: *bene*¹²³. В руках у меня был футляр со скрипкой, потому что я шел на урок к Манлеу. Чего маэстро совершенно не терпел в других, так это непунктуальности.

– *Ciao!*¹²⁴ – тихо сказал я, открывая дверь на лестницу.

Моя ангелоподобная незнакомка осталась сидеть на банкетке. Но послала мне воздушный поцелуй, от которого сердце мое оборвалось и бешено заколотилось. Ее красные губы произнесли *ciao*, которого я не расслышал. Но такие вещи слышишь сердцем. Я закрыл за собой дверь тихо-тихо, чтобы от хлопка прекрасное видение не исчезло.

– Не затягивай, дитя мое! Ты производишь ритмы негроидные, эпилептические, присущие духовым инструментам.

– Что?

¹²² Как дела? (*ит.*)

¹²³ Хорошо (*ит.*).

¹²⁴ Пока! (*ит.*)

– Смотри, смотри, смотри!

Маэстро Манлеу берет скрипку и страшно утрированно исполняет портамента, как я никогда не делал. И, не опуская инструмента, говорит: это – отвратительно. Понимаешь? Безобразие, грязь и гадость.

Я уже тоскую по Трульолс, а ведь прошло всего десять минут от третьего урока у Манлеу. Потом он – явно чтобы подчеркнуть свою значимость – начинает рассказывать, что в своем возрасте, ой, в твоем возрасте: вот я был очень одаренным ребенком. И в твоем возрасте играл Макса Бруха¹²⁵, хотя меня никто этому не учил.

А потом снова хватается скрипку и принимается выводить *соооль-си-ре-соль-сии-ля-диез-фааа-соооооль*. *Си-ре-соль-сиии* – и так далее, как прекрасно.

– Вот это – концерт, а не та учебная тягомотина, которую ты играешь.

– А можно мне начать учить Макса Бруха?

– Как ты собираешься учить Макса Бруха, если ты сам даже высморкаться как следует не умеешь, деточка? – Он возвращает мне скрипку и подходит почти вплотную, чтобы я лучше слышал. – Если б ты был как я – да. Но я – неповторим! – И сухо бросает: – Упражнение двадцать два. И не думай, Ардевол: Брух – посредственность, случайно попавшая

¹²⁵ *Макс Брух* (1838–1920) – немецкий композитор. Знаменит, в частности, своими скрипичными концертами. Первый концерт (Op. 26, 1868) входит в стандартный скрипичный репертуар.

в «десятку». — И он сокрушенно качает головой, расстроенный несправедливостью жизни: если бы я мог больше времени посвящать композиции...

Упражнение двадцать два, *dei portamenti*¹²⁶, было нацелено на тренировку портаменто, но маэстро Манлеу, услышав первое портаменто, вновь был возмущен и пустился в рассуждения о своей необычайной одаренности. На сей раз — на примере концерта Бартока¹²⁷, в котором он, пятнадцатилетний, солировал и был, без сомнения, звездой.

— Ты должен знать, что хороший исполнитель к обычной памяти прибавляет особую память, которая позволяет держать в голове не только партию солиста, но и всю партитуру оркестра. Если у тебя ее нет — ты ни на что не годен. И твой удел — колоть лед или зажигать фонари на улицах. А потом не забыть погасить.

В общем, я делал упражнение на портаменто без исполнения самого портаменто. На этом мы закончили: портаменто ведь можно тренировать и дома. А Брух — посредственность. Чтобы я понял это как следует, три последние минуты третьего урока с маэстро Манлеу я провел в прихожей — с шарфом, замотанным вокруг шеи, переминаясь с ноги на ногу, — пока он отводил душу и критиковал бродячих скрипачей, которые играют в барах да кабаре и наносят вред подрастающему поколению, увлекаясь неумеренными ненужными порта-

¹²⁶ Для портаменто (*ит.*).

¹²⁷ Бела Барток (1881–1945) — венгерский композитор и пианист.

менто. Ты сразу поймешь, что они так играют, просто чтобы понравиться женщинам. Их портаменто приемлемы лишь для *mariques*. До следующей пятницы, деточка.

– До свидания, маэстро!

– И запомни хорошенько: пусть у тебя, как каленым железом, на лбу отпечатается все, что я тебе говорю на уроках и буду говорить потом. Не всякому выпадает счастье заниматься у меня.

Что ж, как минимум я узнал, что таинственное понятие *marica* как-то связано со скрипкой. Однако поиск в словаре ничем мне не помог: этого слова я там не нашел. Брух, видимо, был посредственным *marica*. Я так думаю.

В то время Адриа Ардевол был поистине ангелом бесконечного терпения. Поэтому тогда уроки у маэстро Манлеу не казались ему столь ужасными, как кажутся мне сейчас, когда я рассказываю о них тебе. Я вынес их все и помню – минута за минутой – годы, которые я провел, таща на себе это ярмо. Помню, что после нескольких занятий меня озадачил вопрос, на который я так и не нашел ответ: как так получается, что для исполнения необходимо лишь техническое совершенство? Можно быть ничтожеством и одновременно – виртуозом. Как маэстро Манлеу, который, по-моему, обладал всеми мыслимыми недостатками, но на скрипке играл великолепно.

Дело в том, что достаточно сравнить игру Манлеу и Берната, как сразу слышишь разницу между техничностью пер-

вого и подлинностью второго. Меня интриговало вот что: я не понимал, почему Бернат недоволен своими способностями к музыке и упрямо, словно одержимый, все пишет книгу за книгой, которые терпят провал. Оба мы были большие мастера по обнаружению причин быть недовольными жизнью.

– Но ведь ты не делаешь ошибок! – говорит он мне, шокированный, пятьдесят лет спустя, крайне удивленный моими сомнениями.

– Но важно знать, что я могу их совершить. – Озадаченное молчание. – Не понимаешь?

По этой причине я и забросил скрипку. Но это уже другая история... По дороге в школу я подробно рассказываю Бернату про урок у Манлеу. И мы никак не дойдем до места, потому что Бернат прямо посреди улицы Араго, где от выхлопных газов машин чернеют фасады, изображает – без скрипки – все, что мне говорил Манлеу, а прохожие с интересом смотрят на нас. Потом дома он снова все повторил, и, честное слово, такое ощущение, что теперь по средам и пятницам у великого Манлеу двое учеников.

– В четверг вечером остаетесь после уроков. У вас третье опоздание за две недели, господа! – Дежурный, усатый блондин, улыбается на входе: он доволен, что поймал нас.

– Но...

– Никаких «но». – Он достает ненавистную записную книжку и вытаскивает карандаш. – Имя и класс.

И теперь в четверг вечером, вместо того чтобы дома тай-

ком изучать бумаги отца – царствие ему небесное, – вместо того чтобы дома у Берната или у меня делать домашние задания, мы обязаны торчать над раскрытыми учебниками в классе 2 «Б» в компании двенадцати или пятнадцати таких же несчастных, наказанных за опоздания. А герр Оливерес или профессор Родриго будет надзирать за нами с кислой миной.

Когда я возвращался домой, мама с пристрастием расспрашивала меня про уроки у маэстро Манлеу, допытываясь: могу ли я сыграть какой-нибудь известный концерт – слышишь, Адриа? – из тех, что считаются первоклассными, как ей обещал Манлеу?

– Какой, например?

– «Крейцерову сонату». Что-нибудь из Брамса, – сказала она однажды.

– Это невозможно, мама!

– Не существует ничего невозможного, – ответила она, почти как Трульолс, которая сказала «никогда не говори никогда, Ардевол». Но хоть этот совет и был очень похож, он не произвел на меня никакого эффекта.

– Я играю не так хорошо, как ты думаешь, мама.

– Ты будешь играть превосходно. – И, воспользовавшись отцовским приемом, который позволял ему избегать любых возражений, вышла из комнаты.

У меня не было возможности сказать ей, как я ненавижу эту виртуозность, которая требуется от исполнителя, и про-

чие бла-бла-бла... Мама ушла в дальние комнаты к сеньоре Анжелете, а я загрустил, потому что мама, как раньше, говорила, почти не глядя на меня, и интересовалась только тем, становлюсь ли я виртуозом. А меня терзало неотвязное желание смотреть на голых женщин, и на простыне появились какие-то непонятные пятна... Хотя, конечно, я совершенно не желал, чтобы это стало темой для разговора. Но как я разучу портамента дома, если меня ему не учат?

Дома или ушла? Подойдя к лестнице, я мысленно вернулся к своему ангелу, оставленному на произвол судьбы из-за урока музыки с негроидными ритмами маэстро Манлеу. Я поднимался, перескакивая через две ступеньки, думая, что ангел, должно быть, уже улетел, что я опоздал и никогда не прощу себе этого. Я нервно давил на кнопку звонка. Дверь открыла Лола. Я обогнул ее и посмотрел в сторону балкона. Там меня встретила алая улыбка и сладчайшее *ciao*, и я почувствовал себя самым счастливым скрипачом в мире.

Через три часа после появления чудесного ангела пришла мама. Лицо у нее стало озабоченным, когда она увидела незнакомку на банкетке. Мама вопросительно посмотрела на Лолу Маленькую, вышедшую ее встречать. Потом в ее глазах появилось понимание, и, не дожидаясь объяснений, она прошла в кабинет отца. Спустя три минуты оттуда слышались крики.

Одно дело – четко слышать разговор, а совсем другое –

понимать, о чем речь. Адриа использовал сложную систему подслушивания, чтобы быть в курсе происходящего в отцовском кабинете. Но другого способа у него не было, потому что он вырос и больше не мог прятаться за диваном в углу. Услышав первые крики, я понял, что хоть как-то должен защитить моего ангела от маминого гнева. Из кладовки дверь вела на галерею и в прачечную, где я вставал возле окошка с матовым стеклом, которое никогда не открывалось. Оно выходило в кабинет отца, через него туда проникало немного дневного света. Устроившись под этим окошком, можно было слышать разговоры внутри. Очень ясно. Я всюду совал свой нос у нас дома. Почти. Мама, очень бледная, закончила читать письмо и смотрела в стену.

– Откуда мне знать, что это правда?

– Потому что я наследую дом в Тоне.

– Простите?

Мой ангел вместо ответа протянула ей другой документ, согласно которому нотариус Гаролета из Вика подтверждал дарение всего имущества – дома, амбара, гумна, водоема и трех участков земли – усадьбы Казик Даниэле Амато, рожденной в Риме 25 декабря 1919 года, дочери Каролины Амато и неизвестного отца.

– Усадьбу Казик в Тоне? Но она не принадлежала ему, – парировала мама.

– Принадлежала. А теперь принадлежит мне.

Мама попыталась унять дрожь в руке, держащей доку-

мент, и с презрительной улыбкой вернула его владелице:

– И как далеко распространяются ваши аппетиты? Чего вы еще хотите?

– Магазин. У меня есть на него право.

По тону я понял, что мой ангел произнесла это с нежной улыбкой, которую мне захотелось покрыть поцелуями. На месте мамы я бы отдал ей не только магазин, а все, что она захочет, лишь бы всегда видеть эту улыбку. Но мама вместо этого рассмеялась. Она делала вид, что ей смешно, но это был искусственный смех, недавно появившийся в ее репертуаре. Я испугался, потому что не знал об этой стороне маминой личности: безжалостной, антиангельской. Я видел маму либо тихо опускающей взгляд рядом с отцом, либо отсутствующей и холодной, когда она стала вдовой и принялась планировать мое будущее. Но никогда – ломающей пальцы, лихорадочно изучающей снова и снова дарственную на усадьбу в Тоне и произносящей потом: ни черта не значит эта ваша ссучья бумажка.

– Это официальная бумага. И у меня есть право на часть магазина. Поэтому я и приехала.

– Мой адвокат ответит отказом на любое ваше предложение. На любое.

– Я дочь вашего мужа.

– Да? С тем же успехом вы можете назваться дочерью папы римского. Пустые выдумки.

Мой ангел ответила: нет, сеньора Ардевол, это никакая

не выдумка. Она внимательно осмотрелась вокруг и повторила: никакая не выдумка. Пятнадцать лет назад я была в этом кабинете. И тогда мне тоже не предложили сесть.

– Какой сюрприз, Каролина! – Феликс Ардевол смотрел потерянно, открыв рот. Голос его охрип от испуга. Он пригласил двух женщин войти и провел их в кабинет, до того как Лола Маленькая, занятая разбором приданого Карме, заметит незваных гостей.

Все трое стояли в кабинете, а в остальной квартире царил беспорядок, связанный с переездом: грузчики поднимали по лестнице мамину мебель, бабушкин комод, зеркало из прихожей, которое Феликс распорядился поставить в гардеробную. Люди заходили и выходили, а Лола Маленькая хоть и была тут всего пару часов, но уже изучила каждую кафельную плитку в доме сеньора Ардевола: боже мой, какая шикарная квартира будет у девочки! За дверью кабинета скрылись какие-то люди, чей визит не обрадовал сеньора Ардевола, но кто она такая, чтобы совать нос в его дела.

– Ты занят? – спросила старшая из женщин.

– Весьма. – Он развел руками. – Мы в разгаре переезда. – Затем сухо спросил: – Чего ты хочешь?

Она улыбнулась открытой улыбкой. Он не знал, куда деть глаза. Чтобы хоть немного снять напряжение, Феликс кивнул в сторону молодой женщины и, хотя и знал ответ, спросил: кто эта прелестная сеньорета?

– Твоя дочь, Феликс.

– Каролина, я...

Каролина была почти такой же, как и в тот день, когда ее семинарист с ясным взглядом порядочного человека трусливо разлюбил свою избранницу. После того, как она попросила положить ладонь на живот.

– Мы же спали с тобой всего три или четыре раза! – пробормотал он, испуганный, бледный, трясущийся, потный.

– Двенадцать раз, – ответила она серьезно. – Хотя могло хватить и одного.

Молчание. Спрятать испуг. Думать о будущем. Бросить взгляд на входную дверь. Посмотреть девушке в лицо и слушать, как она говорит с блестящими от эмоций глазами: правда, замечательно, Феликс?

– О, еще как!

– У нас будет ребенок, Феликс!

– Как здорово! Какая радостная новость!

А на завтра он сбежал из Рима, бросив все. И более всего сожалел о том, что не смог дослушать курс отца Фалубы.

– Феликс Ардевол? – изумленно воскликнул епископ Муньос. – Феликс Ардевол-и-Гитерес? – Он покачал головой. – Не может быть!

Епископ сидел за столом в своем кабинете, а моссен Айатс стоял перед ним с папкой в руках, содержимое которой так изумило его преосвященство. Через окна епископского дворца в комнату проникал скрип тяжело груженной повозки и сердитый голос женщины, бранившей ребенка.

– Увы, может. – Секретарь епископа не смог скрыть удовлетворения. – К несчастью, именно в этом он повинен. Женщина забеременела и...

– Избавьте меня от подробностей, – оборвал его епископ. Чтобы справиться с внезапно обрушившейся на него информацией столь интимного свойства, монсеньор Муньос удалился помолиться, потому что его душа была в смятении. Хорошо еще, что монсеньор Торрас-и-Бажес смог скрыть это постыдное деяние того, кого многие считали жемчужиной епископата. А моссен Айатс скромно опустил взгляд, уж он-то давно знал, что собой представляет эта «жемчужина» – Ардевол. Очень способный, знаток философии и все такое – да. Но законченный мерзавец.

– Как ты узнала, что я завтра женюсь?

Каролина ничего не ответила. Ее дочь не сводила глаз с лица сеньора, который был ее отцом, и почти не участвовала в разговоре. Каролина посмотрела на Феликса – пополневшего, лишившегося своего обаяния, постаревшего, с потемневшей кожей и морщинами вокруг глаз – и спрятала улыбку.

– Твою дочь зовут Даниэла.

Даниэла. В честь ее матери.

– В тот день, вот прямо здесь, – сказала мой ангел, – ваш муж подписал и юридически оформил дарственную на мое имя на дом в Тоне. А когда вы вернулись с Майорки, то уточнил ее.

Поездка на Майорку с мужем, который уже не снимал шляпу, когда встречался с ней, потому что они целые дни были вместе, и уже не мог сказать: как дела, красавица? Или – мог, но просто не хотел. Очень внимательный вначале, постепенно муж все больше погружался в свои молчаливые размышления. Я никогда не знала, что делает, о чем молчит и думает целыми днями твой отец, сын. Все время молчит и думает. Лишь иногда раздражаясь криками или отвешивая подзатыльник тому, кто подвернется под руку. А все потому, что ему приходит на ум эта проклятая итальянка. По которой он, оказывается, скучал и которой подарил дом в Тоне.

– Как вы узнали, что мой муж умер?

Мой ангел подняла глаза на маму и сказала, будто не слышала вопроса:

– Он обещал. Нет, он поклялся, что у меня будет доля в наследстве.

– Ну так вы должны знать, что завещания нет.

– Он не думал умереть так скоро.

– Всего хорошего! Передайте привет вашей матушке.

– Она тоже умерла.

Мама не сказала «соболезную» или что-то подобное. Она открыла дверь кабинета. Мой ангел повернулась к ней и, прежде чем выйти, произнесла:

– Мне принадлежит доля в магазине, и я буду бороться за нее столько, сколько будет нужно, пока...

– Всего хорошего.

Входная дверь громко хлопнула, как и в тот день, когда отец вышел из дому в последний раз перед смертью. Я, по правде говоря, понял не очень много. От подслушанного разговора во мне лишь укрепились какие-то смутные подозрения. В те времена латинская грамматика была проще простого, а вот жизнь казалась загадкой. Мама вернулась в кабинет, плотно закрыла дверь. Она какое-то время что-то перебирала в сейфе, а потом вытащила зеленую коробочку. Раскрыла ее, подняла розовую ватку и вынула золотую цепочку, на которой висел очень красивый золотой медальон. Потом положила все обратно в коробочку и выбросила в мусорную корзину. Затем опустилась на диван и заплакала – так, как не плакала со дня свадьбы. Теми горько-сладкими жгучими слезами, которые рождаются из сочетания злости и вины.

Я был ловким мальчиком. В компании хитроумного Черного Орла (да, это было поступком малолетки, а не подростка, но иногда моральная поддержка просто необходима), когда все заснули, я пробрался в отцовский кабинет и на ощупь перебрал в темноте все содержимое мусорной корзины, пока не нашел квадратную коробочку. Я схватил ее, благородный вождь арапахо жестом призвал меня быть очень осторожным. Следуя его указаниям, я зажег свет возле лупы, открыл коробочку и вытащил медальон. Потом закрыл коробочку и аккуратно положил обратно вглубь корзины. Адриа пога-

сил свет и на цыпочках вернулся к себе в комнату. Он плотно закрыл за собой дверь. В доме двери никогда не закрывали, их обычно держали прикрытыми. Ардевол включил лампу на прикроватном столике, жестом поблагодарил Черного Орла и с колотящимся сердцем принялся рассматривать медальон. На нем в примитивной манере была выгравирована Дева Мария. Похоже, изображение какой-то романской статуи. Что-то вроде Муренеты¹²⁸. С крошечным Иисусом на руках. Любопытно, что рядом с Девой было изображено огромное дерево с пышной кроной. Обратная сторона медальона, где я надеялся найти разгадку, оказалась гладкой. И только одно слово «Пардак», грубо выгравированное внизу. И больше ничего. Я понюхал медальон, надеясь обнаружить аромат моего ангела. Не знаю почему, но я был твердо уверен, что эта вещь глубоко внутренне связана с моей большой, единственной и вечной итальянской любовью.

14

Мама каждое утро проводила в магазине. Входя туда, она раскрывала глаза пошире и уже не ослабляла внимания до ухода. Она чувствовала себя там как на войне и никому не доверяла. И это оказалось хорошим решением. Она неожиданно атаковала сеньора Беренгера, когда тот был

¹²⁸ *Муренета* (Черная Дева из Монтсеррата) – скульптура Девы Марии, хранящаяся в каталонском монастыре Монтсеррат. Лицо и руки у нее черного цвета.

совсем не готов к нападению и не нашел способа уйти от ответа. Позже, совсем состарившись, он сам рассказывал мне, что временами невольно восхищался своей противницей. Никогда и подумать не мог, что твоя мама знает, что такое счета или чем эбеновое дерево отличается от вишневого. Но она знала и это, и о серых торговых операциях твоего отца.

– Серых операциях?

– Даже, скорее, о черных.

То есть она взяла управление магазином в свои руки и начала распоряжаться: ты сделаешь вот это, а вы – вот это, не глядя никому в глаза.

– Сеньора Ардевол! – сказал сеньор Беренгер однажды, входя в кабинет сеньора Ардевола (он так навсегда и остался кабинетом сеньора Ардевола). Он произнес: сеньора Ардевол, и голос его звенел от негодования.

Она молча и настороженно посмотрела на него.

– Мне кажется, что у меня после стольких лет есть право рассчитывать на другое обращение. Я хорошо разбираюсь в делах, я езжу, я покупаю и знаю цены покупки и продажи. Я умею торговаться. Я! Ваш муж всегда доверял мне. И несправедливо сейчас так со мной обходиться. Я знаю свою работу!

– Ну так и выполняйте ее. Но теперь задания вам даю я. В частности, что касается тех трех туринских консолей. Купите две, если третью нам не подарят.

– Но лучше все три! Так цена будет...

– Две! Я сказала Оттавиани, что вы приедете завтра.

– Завтра?

Не то чтобы ему не нравилось путешествовать, наоборот – очень нравилось. Но уехать на несколько дней в Турин значило оставить магазин в руках этой ведьмы.

– Да, завтра. Сегодня вечером Сесилия купит билеты. А вернетесь послезавтра. Если будет необходимо принять какое-то решение, которое мы с вами не обсудили, позвоните мне.

Да, в магазине все изменилось. Сеньор Беренгер несколько недель так и жил – с раскрытым от удивления ртом. А Сесилия эти несколько недель прожила, старательно пряча от него улыбку: в кои-то веки для нее все сложилось удачно и бутерброд маслом вниз упал не у нее. Какая сладкая вещь – месть!

Но сеньор Беренгер все видел. И тем утром, перед тем как сеньора Ардевол пришла в магазин и перевернула там все с ног на голову, он встал перед Сесилией, уперев руки в стол и наклонившись к ней всем корпусом: чему же ты радуешься, а?

– Да так... Просто радуюсь, что наконец-то кто-то наведет здесь порядок, а вас возьмет на короткий поводок.

Сеньор Беренгер заколебался: вlepить ей пощечину или задушить. А она посмотрела ему в глаза и добавила: этому и радуюсь.

Сеньор Беренгер редко терял контроль над собой. Он обогнул стол и схватил Сесилию за руки с такой силой, что казалось, сейчас сломает ей кости. Она вскрикнула от боли. Когда сеньора Ардевол ровно в десять часов вошла в магазин, то тишина там стояла такая, что ее можно было резать бритвой. Тут кто угодно заподозрил бы неладное.

– Добрый день, сеньора Ардевол.

Сесилия не могла дать объяснения хозяйке, поскольку в магазин вошла клиентка, желавшая купить два стула, которые бы составили гарнитур с комодом на этом фото, видите, вот с точно такими же ножками, посмотрите!

– Пройдите ко мне в кабинет, сеньор Беренгер.

Они все решили про поездку в Турин за пять минут. Затем сеньора Ардевол открыла каталожный шкаф сеньора Ардевола, достала оттуда ящик, поставила на стол и, не глядя на свою жертву, сказала: а теперь потрудитесь дать мне объяснения, почему это, это, это и вот это не сходится. Покупатель заплатил нам двадцать, а в банк поступило только пятнадцать.

Сеньора Ардевол начала постукивать по столу пальцами так, как это делал лучший в мире детектив. Потом посмотрела на сеньора Беренгера: вот здесь, здесь и здесь – больше сотни сделок в ущерб нам. Сеньор Беренгер посмотрел, скривив лицо, на первое «здесь» и понял, что она знает. Как ей это удалось, черт побери...

– Мне помогла Сесилия, – сказала мама, словно догадав-

шись о мыслях в голове сеньора Беренгера. – Одна я бы не разобралась.

Вот чертовы шлюхи – что одна, что другая! Что значит работать с женщинами!

– И как давно вы проделываете такое в ущерб интересам нашей семьи?

Он с достоинством молчал. Словно Иисус перед Пилатом.

– С самого начала?

Он продолжал молчать – с еще бóльшим достоинством, чем Иисус.

– Я буду вынуждена сообщить в полицию.

– Я делал это с разрешения сеньора Ардевола.

– Так я и поверила!

– Вы ставите под сомнение мою порядочность?

– Еще бы! С какой стати моему мужу позволять вам обкрадывать нас?

– Я никого не обкрадывал! Это моя доля по справедливости.

– Из каких же соображений мой муж позволял вам такие комиссионные?

– Потому что он знал, что мое жалованье слишком маленькое по сравнению с тем, что я делаю для вашей семьи.

– Отчего бы ему просто не повысить вам жалованье?

– Это надо спросить у него! Извините. Но так и есть.

– У вас есть документ, подтверждающий ваши слова?

– Нет. Это была устная договоренность.

- Стало быть, придется сообщить в полицию.
- Знаете, зачем Сесилия подсунула вам эти квитанции?
- Нет.
- Потому что хочет свести со мной счеты.
- Зачем? – Мама, заинтригованная, оперлась на кресло

в вопросительной позе.

- Тут надо начинать издавека...
- Сядьте! У нас есть время – ваш самолет улетает вечером.

Сеньор Беренгер сел. Сеньора Ардевол поставила локти на стол и оперлась подбородком на руки. Потом посмотрела ему в глаза, приглашая начать рассказ.

- Идем, Сесилия, у нас мало времени.

Сесилия похотливо улыбнулась, как делала это, когда их никто не видел, и позволила сеньору Ардеволу взять себя за руку и отвести в кабинет.

- Где Беренгер?
- В Сарриа. Поехал за вещами из дома Перикас-Сала.
- А Кортес туда не поехал?
- Он не доверяет наследникам. Они хотят спрятать вещи.
- Вот крысы! Раздевайся!
- Дверь открыта.
- Это возбуждает. Раздевайся!

Сесилия стоит голая посреди кабинета, опустив взгляд и улыбаясь так невинно, будто ни разу такого не делала. Но я не поехал в дом Перикас-Сала, потому что я составил такую подробную опись, что мог послать туда кого угодно.

Эта шлюха, сидя на столе, услаждала вашего мужа.

– Ты с каждым днем делаешь это все лучше.

– Кто-нибудь может войти в магазин.

– Занимайся своим делом. Если кто-нибудь войдет, я к нему выйду в зал.

Представляешь? Они принялись смеяться как сумасшедшие, так что в конце концов уронили на пол чернильницу. До сих пор заметно пятно, видите?

– Я люблю тебя!

– А я – тебя. Поехали со мной в Бордо.

– А магазин?

– Оставим на сеньора Беренгера.

– Но он ничего в этом не смыслит.

– Ты думай о себе. Поедем в Бордо, и у нас будет праздник каждую ночь.

Тут зазвонил колокольчик входной двери и в магазин вошел клиент, желавший купить японский кинжал, который присмотрел еще на прошлой неделе. Сесилия срочно начала приводить себя в порядок.

– Обслужишь его, Сесилия?

– Одну минуту, сеньор Ардевол!

Раскрасневшаяся, без нижнего белья, торопливо стирая неровные следы от помады, Сесилия вышла из кабинета к клиенту, а Феликс рассеянно смотрел ей в спину.

– Зачем вы все это мне рассказываете, сеньор Беренгер?

– Чтобы вы все знали. Это длилось несколько лет.

– Я не верю ни одному вашему слову.

– Ну так это не все. Это еще не вся история.

– Что ж, рассказывайте. Я же сказала – у нас есть время.

– Ты – трус. Нет-нет, дай мне сказать: трус! Пять лет я слышу эту песню: да, Сесилия, в следующем месяце я все ей расскажу, обещаю тебе! Трус! Пять лет водишь меня за нос. Пять лет! Я не наивная девочка! (...) Нет, нет, нет. Сейчас говорю я: мы никогда не будем жить вместе, потому что ты меня не любишь. Нет, это ты помолчи, моя очередь говорить. Я сказала тебе, чтобы ты замолчал! Можешь засунуть себе в задницу все свои красивые слова! Все кончено. Слышишь меня? Что? (...) Нет. Не говори мне ничего! Что? Потому что я повешу трубку, когда захочу. (...) Нет, дорогой, когда мне приспичит.

– Я уже сказала, что не верю ни единому слову. Я знаю, что говорю.

– Ваше право. Думаю, мне следует поискать другую работу.

– Нет. Ежемесячно вы будете возмещать украденное – и можете продолжать работать.

– Я предпочитаю уволиться.

– Что ж, тогда я заявлю на вас в полицию, сеньор Беренгер.

Мама вынула из папки листок, на котором были написаны какие-то цифры.

– Ваше жалованье с сегодняшнего дня. Вот сумма, кото-

рую я буду удерживать. Я хочу, чтобы вы вернули мне все до последнего дура. А сидя в тюрьме, вы не сможете мне вернуть деньги. Итак, что вы выбираете, сеньор Беренгер?

Сеньор Беренгер открывал и закрывал рот, словно рыба на берегу. И тут он почувствовал дыхание сеньоры Ардевол на своей коже – она поднялась, обогнула стол и приблизилась к нему лицо, чтобы тихо и нежно сказать: а если со мной вдруг случится что-нибудь странное, то имейте в виду, что все сведения для полиции и необходимые инструкции к ним хранятся в сейфе одного нотариуса в Барселоне, двадцать первое марта тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года, подписано Карме Боск д'Ардевол. Я – такой-то и такой-то, нотариус, заверяю. И после паузы повторила: так что вы выбираете, сеньор Беренгер?

Словно кто-то ее толкал, заставляя забыть всякий стыд и подчиниться порыву, она требовала аудиенции у гражданского губернатора Барселоны, отвратительного Аседо Колунги. В своей роли вдовы генерала Морагеса сеньора Карме Боск д'Ардевол предстала перед личным секретарем губернатора с прошением о правосудии.

- Правосудии для кого, сеньора?
- Для убийцы моего мужа.
- Мне необходимо больше информации, чтобы понять, о ком вы говорите.
- Я изложила все обстоятельства в бумаге, обосновывающей мое прошение об аудиенции. Детально. – Пауза. – Вы ее

читали?

Секретарь губернатора посмотрел в бумаги, лежащие перед ним. Внимательно прочел. Черная вдова старалась выровнять дыхание и думала, что стоит тут, теряя нервы и здоровье, ради человека, который с самого начала ее игнорировал и никогда не любил в своей «ссучьей жизни».

– Очень хорошо, – сказал секретарь. – И чего вы желаете?

– Говорить с его превосходительством сеньором гражданским губернатором.

– Вы уже говорите со мной, это одно и то же.

– Я хочу говорить с губернатором лично.

– Невозможно, выбросьте это из головы.

– Но...

– Вы не можете этого сделать.

Она не могла этого сделать. Выйдя из резиденции губернатора на трясущихся от злости ногах, она приняла решение оставить эти попытки. Быть может, чудесное явление моего итальянского ангела подтолкнуло ее к этому даже больше, чем презрительное отношение франкистских властей. А также настойчивое желание некоторых людей представить Феликса человеком, неразборчивым в связях и одержимым сексом. А может, что-то еще стало причиной того, что она пришла к заключению, что больше не хочет требовать справедливости ради человека, который был так несправедлив к ней самой. Да. Или нет. Самым загадочным человеком в моей жизни был отец, а потом – до нашей встречи с тобой –

мама. Через несколько дней все переменилось, и она изменила свое решение. Об этом я могу рассказать как свидетель, ничего не придумывая.

– ДЗЗЗЗЗЫНННННЬ!

Дверь открыл я. Мама недавно вернулась из магазина и, кажется, была в ванной. Табачная вонь, сопровождавшая комиссара Пласенсию, ворвалась в дом первой.

– Сеньора Ардевол? – Его лицо исказила гримаса, которая должна была изображать улыбку. – Мы ведь знакомы?

Мама повела оставлявшего за собой табачный шлейф комиссара в кабинет. У нее сердце стучало – бум, бум, бум, а у меня – бам, бум, бом, потому что я созвал на срочный совет Черного Орла и Карсона – пешими, без лошадей, чтобы не шуметь. Галерея с окном была занята Лолой Маленькой, поэтому мне пришлось совершить безумный поступок: я, словно вор, проскользнул за диван, пока мама и полицейский двигали стулья и усаживались. Я в последний раз использовал диван как укрытие: у меня слишком выросли ноги. Мама вышла на минуту в коридор, чтобы сказать Лоле: меня не беспокоить, даже если в магазине случится пожар, ясно? Затем вернулась и плотно закрыла дверь. А мы – пятеро – остались внутри.

– Говорите, комиссар.

– Как я понимаю, вы дискредитировали меня перед его превосходительством губернатором.

– Я никого не дискредитирую и не критикую. Лишь тре-

бую информацию, на которую имею право.

– Что ж, сейчас вы ее получите. И уж постарайтесь понять ситуацию.

– Уж постараюсь, – ответила она иронично. Я молча аплодировал ей, как когда-то аплодировала мне лучшая в мире супруга лучшего в мире палеографа.

– С сожалением вынужден сообщить вам, что если мы копнем глубже жизнь вашего мужа, то обнаружим весьма неприятные вещи. Хотите услышать?

– Еще как!

Думаю, что маму после появления моего итальянского ангела (я любовно глажу медальон, который тайком ношу на шее) уже сложно удивить. Поэтому она прибавляет: начинайте, комиссар.

– Предупреждаю, вы потом скажете, что я все выдумал и вы не верите.

– И все-таки попробуйте.

– Очень хорошо.

Комиссар сделал паузу и начал говорить правду и ничего, кроме правды. Он рассказал, что сеньор Феликс Ардевол был преступником, содержал в Барселоне два публичных дома и был причастен к вовлечению несовершеннолетних в занятие проституцией. Вы понимаете, о чем я, сеньора?

– Продолжайте.

– Il fait déjà beaucoup de temps que son mari mène une double vie, madame Ardevol. Deux prostíbuls (prostiboules?)

amb l'agreujaunt (agreujaunt?) de faire, de... de... d'utiliser des filles de quinze ou seize ans. Je suis désolé d'être obligé de parler de tout ça¹²⁹.

Нога, к счастью, перестала трястись, а то сегодня французский не лез в голову. Так что я смог вновь сосредоточиться на неудобоваримом испанском комиссара. Мне показалось, что Карсон бросил взгляд на мою ногу, чтобы удостовериться, что я больше ею не дергаю.

– Желаете, чтобы я продолжал, сеньора?

– Будьте добры.

– Я думаю, что преступление против вашего мужа совершил отец одной из девочек, которых покойный заставил заниматься проституцией. Видите ли, перед тем как отправить их в публичный дом, он испытывал их лично. Вы меня понимаете? – И уточнил с нажимом: – Лишал их девственности.

– Даже так?

– Да.

– То есть двойное преступление.

– Да, содержание публичного дома и изнасилование несовершеннолетних. Трудно поверить в этот ужас. Мурашки по коже от мысли об этих девочках. Или их родителях. Не возражаете, если я закурю?

– Даже не думайте курить тут, комиссар!

¹²⁹ Уже давно ваш муж вел двойную жизнь, мадам Ардевол. Два публичных (или правильно – «два публичные»?) дома, где он объединил (собрал?) для работы... где он использовал девочек пятнадцати-шестнадцати лет. Я сожалею, что вынужден рассказывать вам все это (*фр.*).

– Если хотите, мы можем продолжать расследование и найти отчаявшегося отца, который, совершив правосудие на свой манер, исчез. Но любое наше действие выставит на всеобщее обозрение грязное белье вашего мужа.

Тишина. Нога угрожала начать *de bouger encore une fois*¹³⁰. Какие-то звуки. Возможно, разочарованный комиссар убирал свою сигару. Внезапно мамин голос:

– Знаете что, комиссар?

– Да?

– Вы были правы. Я не верю ни единому вашему слову. Все это вы выдумали. Только надо понять – зачем?

– Видите? Видите? Я вас предупреждал, что так будет. – Повысив голос: – Предупреждал или нет? А?

– Это не аргумент.

– Если вы не боитесь последствий, я могу размотать клубок до конца. Какие мерзости при этом могут всплыть на поверхность... об этом знает только ваш муж.

– Всего доброго, комиссар. Это была хорошая попытка.

Мама говорила, как Олд Шаттерхенд, немного выпендриваясь. Мне это понравилось. Карсон и Черный Орел были под впечатлением. Настолько, что Черный Орел вечером попросил меня звать его Виннету¹³¹, но я не согласился. Мама сказала комиссару всего доброго и даже не шелохнулась. Набравшись опыта, наводя порядок в делах магазина, она при-

¹³⁰ Дергаться снова (*фр.*).

¹³¹ Олд Шаттерхенд, Виннету – персонажи ряда книг Карла Мая.

обрела вкус к хорошо продуманным мизансценам. Полицейскому не оставалось ничего иного, как подняться со стула, — согласен он или нет. А мне надо было обдумать теперь все рассказанное комиссаром об отце (пусть я не все до конца понял) и решить: верить или нет.

— Хау!

— Да? Публичный дом... и что за второе слово?

— Плаституния? — попробовал вспомнить Карсон.

— Не знаю... Что-то вроде этого...

— Тогда сначала посмотрим «публичный дом». В словаре «Эспаза», да.

— «Публичный дом: дом терпимости, лупанарий, бордель».

— Черт... Нужно смотреть том на «Д». Вот.

— «Дом терпимости: публичный дом, лупанарий, дом с продажными женщинами».

Молчание. Все трое несколько растерялись.

— А «лупанарий»?

— «Лупанарий: дом терпимости, бордель, публичный дом». Вот блин! Lugar o casa que sirve de guarida a gente de mal vivir¹³².

— Теперь «бордель».

— «Бордель: дом терпимости, лупанарий».

— Черт.

— Эй, подожди. Casa o lugar en que se falta al decoro con

¹³² Место или дом, служащее логовом для людей дурного образа жизни (исп.).

ruido y confusión¹³³.

Получается, что отец владел домами терпимости, то есть домами, где шумели и был беспорядок. И за это его убили?

– А если посмотрим «пластитунию»?

– А как это будет по-испански?

Мы помолчали. Адриа был растерян.

– Хау!

– Да?

– Это все не из-за шума. Это из-за секса.

– Уверен?

– Уверен. Когда воин достигает возраста и становится мужчиной, шаман объясняет ему секреты секса.

– Когда я достигну возраста, мне никто не объяснит секреты секса.

Молчание – с оттенком горечи. Потом я слышу, как кто-то коротко сплюнул.

– Говори, Карсон!

– Я бы сказал...

– Ну так говори!

– Нет. Ты еще не в том возрасте.

Шериф Карсон был прав. Я вечно не в том возрасте. То слишком молод, то слишком стар.

¹³³ Место или дом, которому не хватает внешнего приличия из-за шума и беспорядка (*исп.*).

– Положи руки в горячую воду. Вытаскивай, вытаскивай, чтобы они не слишком размякли. Пройдись. Не нервничай. Успокойся. Ходи. Дыши глубоко. Теперь остановись. Вот так. Очень хорошо. Думай о начале. Посмотри на вход в зал и поприветствуй. Хорошо. Теперь поприветствуй. Нет, парень, не так, боже ты мой! Ты должен поклониться, должен сдаться публике. Не изнемогать, нет. А так, чтобы публика решила, что ты сдался на ее милость. Но когда ты поднимешься до моего уровня, то узнаешь, что ты – лучший и что другие должны преклонять колени перед тобой. Говорю тебе – не нервничай. Вытри руки, ты же не хочешь подхватить насморк? Возьми скрипку. Ласкай ее, властвуй, думай, что ты велишь ей делать то, что хочешь. Думай о первых тактах. Вот так, без смычка, изобрази, будто касаешься струн. Очень хорошо. Теперь можешь вернуться к гаммам.

Маэстро Манлеу, пылая восторгом, вышел из гримерки, и я смог нормально дышать. Я успокаивался, играя гаммы, легко извлекая звуки, избегая фальши, скользя смычком, бережно расходуя канифоль и дыша. И тогда Адриа Ардевол сказал, что никогда больше, что это одно мучение, что он не готов выходить на сцену и раскладывать на прилавке товар – вдруг кто купит за горстку аплодисментов. Из зала доносились звуки прелюдии Шопена, очень хорошо исполнен-

ной. Я представил себе руку прекрасной барышни, ласкающей клавиши пианино... Я больше не мог: оставил скрипку в раскрытом футляре и бросился к занавесу – посмотреть. Это была невероятно прекрасная девушка. И я влюбился в нее немедленно и без памяти. Я хотел бы быть тем пианино, к клавишам которого она прикасалась. Когда эта невероятная красавица закончила играть и очаровательно раскланялась, Адриа неистово заплодировал. Тут кто-то жестко ухватил его за плечо:

– Какого черта ты тут делаешь? Тебе сейчас выступать.

По пути в гримерку маэстро Манлеу бранил безответственного мальчишку двенадцати или тринадцати лет, которому лень выступать, хоть это его первый выход на сцену, словно это нужно только твоей маме и мне, как непрофессионально – стоит тут, раскрыв рот. После выговора я опять утратил всякое спокойствие. Я поздоровался с профессором Мари, которая уже стояла у выхода на сцену (видишь? вот она – профессионал). Она подмигнула мне и сказала: не волнуйся, ты замечательно играешь, а будешь еще лучше. И не обгоняй меня во вступлении: ты – ведешь, я лишь подхватываю, не торопись. Как на последней репетиции. Тут Адриа почувствовал дыхание маэстро Манлеу на своем затылке.

– Дыши. Не смотри на публику. Приветствуй ее элегантно. Ноги слегка расставлены. Смотри вглубь зала и начинай играть, даже если аккомпаниатор еще не совсем готова. Сей-

час ты – ее повелитель.

Я хотел знать, кто та девочка, что выступала передо мной, чтобы поприветствовать ее, или поцеловать, или обнять, или вдохнуть запах ее волос. Но видимо, выходили со сцены с другой стороны. Я услышал, как объявляют выступление Адриа Ардевола-и-Боска с аккомпаниатором Антонией Мари. Это значит – мы должны выходить. И тут я увидел, что Бернат, который клялся: да не переживай ты, в самом деле, Адриа, спокойно, я не приду, клянусь, сидит в первом ряду, подлый *marica*, и прячет, как мне показалось, глумливую улыбку. А рядом его родители, вот гад. И моя мама с двумя сеньорами, которых я никогда раньше не видел. И маэстро Манлеу пристроился к ним и что-то шепчет маме на ухо. И больше половины зала незнакомых мне людей. Меня скрутило непреодолимое желание немедленно пописать. Я прошептал аккомпаниатору Мари, что мне нужно в туалет. Она ответила: не волнуйся, никто не уйдет, не послушав твоей игры.

Адриа Ардевол не пошел в туалет. Он забежал в примерку, спрятал скрипку в футляр и оставил там. Несясь к выходу, он наткнулся на Берната, который испуганно посмотрел на него и сказал: куда ты рванул, осел? Он ответил: домой. А Бернат: да ты совсем псих! Адриа сказал: ты должен мне помочь! Скажи, что меня увезли в больницу, или еще что-нибудь. И выскочил из Казал-дел-Мет-

же¹³⁴ на шумную вечернюю виа Лаэтана. На улице я понял, что вспотел как мышь. Повернулся и пошел домой. Я шел больше часа и не знал, что Бернат поступил как настоящий друг: вернулся в зал и сказал маме, что я плохо себя почувствовал и меня отвезли в больницу.

– В какую больницу, дитя мое?

– Откуда я знаю! Таксист увез.

Стоя посреди коридора, маэстро Манлеу раздавал противоречивые указания. Он был совершенно выведен из себя, поскольку его окружили абсолютно незнакомые люди, которые почти не сдерживали смех, а Бернат ничего не желал пояснять, стараясь таким образом помешать выскочить на улицу и увидеть, как я удираю по виа Лаэтана.

Спустя час я был дома. Лола Маленькая, увидев, что я пришел, совершила ужасное: позвонила в Казал-дел-Метже, глупая (у взрослых всегда круговая порука). Так что очень скоро мама ввела меня в кабинет, куда вошел также маэстро Манлеу, и закрыла дверь. Дальше начался кошмар. Мама: о чем, о чем ты думал? Я: я не хотел выступать. Мама: о чем, о чем ты думал? Маэстро Манлеу, воздевая руки: уму непостижимо! уму непостижимо! Я: я сыт по горло, мне нужно свободное время для чтения. Мама: нет, ты будешь заниматься скрипкой, а когда вырастешь, тогда и бу-

¹³⁴ Casal del Metge (Дом Медика) – здание на виа Лаэтана, 31, построенное в 1931 г. Там расположен актовый зал на 320 мест, где проходили концерты, спектакли, публичные лекции.

дешь принимать решения. Я: ну так я его уже принял. Мама: в тринадцать лет у тебя нет права принимать решения. Я оскорбленно: в тринадцать с половиной! Маэстро Манлеу, воздевая руки: уму непостижимо! уму непостижимо! Мама: о чем, о чем ты думал? — и так еще несколько раз. А потом: эти уроки мне обошлись в целое состояние, а ты... Маэстро Манлеу, услышав в ее словах намек, решил уточнить: нет, не целое состояние. Я беру дорого, но мои уроки на самом деле стоят еще дороже, примите это во внимание. Мама: а я говорю, вы берете очень дорого, просто зверски дорого. Маэстро Манлеу: что ж, если я вам не по карману, то давайте расстанемся, ваш сын отнюдь не Ойстрах. А мама отбрила: даже не думайте — вы сказали, что мальчик стоящий и вы сделаете из него скрипача. Тем временем я начал успокаиваться, потому что теперь мяч перешел на их половину поля и мне не нужно было переводить разговор на французский. Лола Маленькая, проклятая предательница, просунула голову в дверь и сказала, что срочно звонят из Казал-дел-Метже. Мама, прежде чем выйти, обронила: разговор не окончен, я сейчас вернусь. А маэстро Манлеу приблизил свое лицо к моему и произнес: ах ты, сукин трус, у тебя же разучена эта соната! Я ответил ему: ну и что? Я не хочу выступать на публице. Он: а что об этом подумает Бетховен? Я: Бетховен уже умер и ничего не узнает. Он: упрямый осел! Я: *marica*. В кабинете повисло тяжелое молчание.

— Что ты сказал?

Мы замерли друг против друга. Тут вернулась мама. Маэстро Манлеу – с воздетыми руками и отвалившейся челюстью – еще не вышел из ступора. Мама сказала: ты наказан. Будешь сидеть дома под замком и выходить только в школу и на уроки музыки. А сейчас отправляйся в свою комнату. Я еще подумаю, будешь ты сегодня ужинать или останешься голодным. Иди! Маэстро Манлеу так и стоял с воздетыми руками и отвалившейся челюстью.

В качестве протеста я плотно закрыл дверь в свою комнату. Пусть мама возмущается, если хочет. Я открыл свою коробку с сокровищами, где хранил все ценное, кроме Черного Орла и Карсона, которые жили снаружи. Насколько я помню, там лежали двойной вкладыш с «мазерати», несколько стеклянных шариков и медальон моего ангела, когда я не носил его, – память о ее улыбке и алых губах, произнесших: *ciao, Adriano!* А Адриа представлял, как произносит в ответ: *ciao, angelo mio!*

Его вызвали в пыльный класс, где у младших проходили уроки сольфеджио, – в другое здание. Темень и пыль приглушили крики ребят, гонявших мяч во дворе. Свет горел в конце коридора, там, где был класс.

– Входи, артист.

Отец Бартрина был весь какой-то угловатый, высокий и сухопарый. Сутана ему была коротка, и из-под нее торчали брючины. Он сутулился, и оттого казалось, что он вот-

вот обнимет своего собеседника. Он был приветлив и спокойно принимал тот факт, что ученики совершенно не интересовались сольфеджио. Но поскольку отец Бартрина был учителем музыки, то преподавал сольфеджио *sanseacabó*¹³⁵. Проблема была только в том, как сохранить авторитет учителя, если все без исключения ученики абсолютно не интересуются музыкой и понятия не имеют, где нужно рисовать ноту *фа*. От такой жизни он сильно сутулился. Дни проходили за днями, одни ученики сменялись другими, а он так и стоял перед огромной грифельной доской, расчерченной четырьмя нотными станами красного цвета, с помощью которых абсурдным образом объяснял разницу между черной нотой (штрихуя ее белым мелом) и белой (рисую пустой кружок на черной доске).

– Здравствуйте.

– Мне сказали, что ты играешь на скрипке.

– Да.

– И что ты отказался играть в Казал-дел-Метже.

– Да.

– Почему?

И Адриа объяснил ему свою теорию технического совершенства, являющегося основным требованием в профессии исполнителя.

– Дело не в техническом совершенстве. Просто у тебя

¹³⁵ Вот и весь разговор (*исп.*).

*trac*¹³⁶.

– Что?

И отец Бартрина объяснил ему свою теорию о страхе артиста перед публикой, вычитанную им в одном английском музыкальном журнале. Нет. Это совсем не то, думал я. Но сложно заставить его понять это. Это не то что я боюсь: я просто не хочу идти по пути технического совершенства. Я не хочу делать работу, в которой нет места ошибкам или колебаниям.

– В исполнительском мастерстве есть место и ошибкам, и колебаниям. Но все они остаются за сценой, в учебном классе. Когда исполнитель стоит на сцене перед публикой, он выше всех колебаний. И *sanseacabó*.

– Неправда!

– Что?

– Простите. Я с вами не согласен. Я слишком люблю музыку, чтобы ставить ее в зависимость от одного неудачно поставленного пальца.

– Сколько тебе лет?

– Тринадцать с половиной.

– Тогда не говори, как ребенок.

Он мне выговаривал? Я испытующе посмотрел ему в глаза, но не увидел в них никакого тайного умысла.

– Почему ты никогда не ходишь к причастию?

– Я не крещен.

¹³⁶ Страх артиста перед публикой (*исп.*).

– Господи Боже!

– Я не католик.

– А кто ты? – И уточнил осторожно, пока я размышлял: – Протестант? Иудей?

– Я никто. Мы все дома – никто.

– Нужно об этом поговорить более спокойно.

– Руководство школы обещало родителям, что со мной не будут говорить на эту тему.

– Господи Боже! – И себе самому: – Нужно изучить этот вопрос. – А потом продолжил обвиняющим тоном: – Мне сказали, что ты записан на изучение всех предметов.

– Да. Но это не моя заслуга, – защищался я.

– Почему?

– Потому что это легко. У меня хорошая память.

– Правда?

– Да. Я помню все.

– И можешь играть без партитуры?

– Конечно. Если прочел ее один раз.

– Невероятно! Невероятно!

– Вовсе нет. Потому что у меня нет абсолютного слуха.

А у Пленсы – есть.

– У кого?

– Пленса из четвертого «С». Он играет на скрипке вместе со мной.

– Пленса? Такой довольно высокий и светлый?

– Да.

– Он играет на скрипке?

Что ему нужно, а? Зачем этот человек устроил мне этот допрос? Закончит он когда-нибудь? Я утвердительно кивнул, а сам подумал, что, возможно, виноват перед Бернатом за эти разлагольствования.

– Мне сказали, что ты знаешь языки.

– Нет.

– Нет?

– Ну... французский... мы его здесь учим.

– С начала года. Но говорят, что ты уже неплохо его знал.

– Это потому... – Что я ему мог сказать?

– И немецкий.

– Ну, я...

– И английский.

Он говорил это, как будто вкладывая пальцы в рану после того, как поймал меня на месте преступления. Адриана не оставалось ничего другого, как защищаться. Ардевол подтвердил – да, и английский.

– Который ты учил сам.

– Нет, – возразил я. – Это неправда. Я занимался с учителем.

– Но мне сказали...

– Нет, это итальянский. Вот его я учил сам.

– Невероятно!

– Да нет, это очень просто. Романские языки. Если знаешь каталанский, испанский и французский, это возможно.

Я хочу сказать – это очень легко тогда.

Отец Бартрина оглядел его сверху вниз, словно пытался понять, не издевается ли над ним этот подросток. Адриа прибавил в качестве извинения:

– Но я уверен, что итальянское произношение у меня ужасное.

– Неужели?

– Да. Они ставят ударение туда, куда я бы никогда не поставил.

Повисло долгое молчание. Потом отец Бартрина спросил:

– Чем ты хочешь заниматься, когда вырастешь?

– Не знаю. Читать. Изучать что-нибудь. Не знаю.

Молчание. Отец Бартрина сделал несколько шагов к балкону. Вынул откуда-то из складок сутаны белейший платок и промокнул губы в задумчивости. Движение по улице Лююрия было оживленным, иногда даже очень. Отец Бартрина повернулся к мальчику, стоявшему посреди класса. И тут спохватился:

– Садись, садись.

Я сел за парту, по-прежнему не понимая, чего хочет этот человек. Он приблизился и сел за соседнюю парту. Посмотрел мне в глаза:

– Я играю на пианино.

Молчание. Я так и думал, потому что на уроке он брал то один аккорд, то другой, пока мы, полусонные, делали упражнения на сольфеджио. Я ждал, что будет дальше. Но ему, ка-

залось, было сложно продолжать. Наконец он решился:

– Мы можем сыграть «Крейцерову сонату» на празднике в честь конца учебного года. Как ты думаешь? В Палау-де-ла-Музика¹³⁷. Тебе нравится эта идея – сыграть в Палау-де-ла-Музика?

Я молчал. Представил, как все меня дразнят *marica*, а я стараюсь быть безукоризненным на сцене... Врата ада разверзлись предо мной.

– Ты ведь должен был играть в Казал-дел-Метже. Ты же помнишь об этом?

Он впервые улыбнулся, желая ободрить меня. Желая уговорить меня. Чтобы я ответил: да. Я молчал, потому что мне в голову пришла замечательная мысль. Я подумал, что это и здесь мне может помочь. И я спросил: отец Бартрина, а вас тоже называют *marica*?

Адриа Ардевол-и-Боск из 3 «А» класса был исключен из школы на три дня по неясным причинам, которые он отказался прояснить маме. Для одноклассников он был болен ангиной. Что касается Берната... Когда Адриа сказал ему: а что, если ты такой же *marica*, как и я, тот просто взвился до потолка.

– Ты – *marica*?

– Откуда я знаю? Эстебан говорит, что да, потому что я

¹³⁷ Палау-де-ла-Музика (Дворец музыки) – концертный зал, построенный знаменитым каталонским архитектором Л. Думенек-и-Мунтанером в 1905–1908 гг. Входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

играю на скрипке. Значит, и ты тоже. И отец Бартрина, хоть он играет на пианино, но думаю, это не принципиально.

– И Яша Хейфец.

– Думаю, да. И Пау Казалс¹³⁸.

– Ага. Но меня никто так не называл.

– Потому что никто не знает, что ты играешь на скрипке.

Бартрина вот не знал.

Вместо того чтобы войти в здание консерватории, оба друга замерли, не обращая внимания на оживленное движение по улице Брук. Бернат высказал идею:

– А почему ты не спросишь у мамы?

– А почему ты не спросишь у своей? Или у отца, благо он у тебя есть.

– Но меня-то не исключили из школы, я никого не называл *marica*!

– А если мы спросим у Трульолс?

В тот день Адриа решил сходить на урок к Трульолс, чтобы посмотреть, взбесится ли маэстро Манлеу. Учительница была рада его видеть, отметила прогресс в его игре и никак не прокомментировала инцидент в Казал-дел-Метже, о котором, конечно, знала. Они не спросили ее о загадочном слове *marica*. Трульолс жаловалась, что сегодня мы нарочно оба фальшивим, чтобы быстрее ей надоест, но это была неправда. Просто, помимо прочего, прежде чем зайти

¹³⁸ Пау (Пабло) Казалс (1876–1973) – знаменитый каталонский виолончелист, дирижер, композитор.

в класс, мы слышали, как мальчик младше нас (мне кажется, его звали Кларет) играл на скрипке, как двадцатилетний. От этого я завелся и почувствовал себя маленьким.

– Ха, а у меня не так. Я злюсь и занимаюсь больше.

– Ты станешь великим скрипачом, Бернат.

– Ты тоже.

Странно, когда такие разговоры ведут подростки возраста Берната и Адриа. Но скрипка в руках меняет людей. Вечером Адриа солгал маме. Сказал, что его выгнали из школы из-за того, что он смеялся над учителем, который кое-чего не знал. Мама, голова которой была занята магазином и махинациями Даниэлы, моего итальянского ангела, прочла Адриа нотацию – хоть и полезную, но в которую сама мало верила. Она сказала: ты должен знать, что Господь наделил тебя исключительными способностями. Но помни, что это не твоя заслуга, а подарок природы. Адриа подумал, что сейчас, после смерти отца, мама вновь заговорила о Боге, то и дело путая его с природой. Того и гляди выяснится, что Бог существует, а я тут ушами хлопаю.

– Я понял, мама. Я больше так не буду. Прости.

– Нет, прощения ты должен просить у учителя.

– Да, мама.

Она не спросила ни что за учитель, ни что именно Адриа ему сказал, ни что тот ему ответил. Все это осталось тайной. После ужина она ушла в кабинет отца, где на столе для ин-

кунабул лежали раскрытые приходно-расходные книги.

Пока Лола Маленькая убирала со стола и приводила в порядок кухню, Адриа слонялся вокруг, делая вид, что помогает. Убедившись, что мама занята в кабинете, он проскользнул в кухню, прикрыл дверь и, пока смущение не помешало ему, выпалил: Лола, ты можешь мне объяснить, почему меня в школе называют *marica*?

Я никак не мог уснуть, думая, как ткну Берната носом в его невежество. Берната, который всегда знал те вещи, которые мы не должны были знать. Это лишило меня сна. Я слышал, как колокола на церкви Консепсьо бьют одиннадцать, а ночной сторож стучит палкой в металлические ворота дома Сула и грохот раздается на весь квартал – в те времена, когда правил Франко и Земля нам казалась плоской; в те времена, когда я был ребенком и мы не были знакомы; в те времена, когда Барселона погружалась в сон, как только на город спускалась ночь.

III. Et in Arcadia ego¹³⁹

В молодости я боролся за то, чтобы быть собой; а теперь смирился с тем, что я есть.

Жузеп Мария Мурререс

16

Адриа Ардевол очень повзрослел. Время шло не напрасно. Он уже узнал, что значит *marica*, и даже распотрошил, что значит «теодицея». Черный Орел, вождь арапахо, и благородный шериф Карсон пылились на полке рядом с Сальгари, Карлом Маем, Зейном Греем и Жюлем Верном. Но от неотступной маминой опеки я так и не избавился. Покорность позволила сделать из меня техничного скрипача, играющего механически, без души. Эпигона Берната. Маэстро Манлеу считал мое позорное бегство со сцены признаком гениальности. Отношения между нами не изменились, только после того вечера он решил, что имеет право иногда отчитывать меня в воспитательных целях. Мы с маэстро Ман-

¹³⁹ И в Аркадии я (*лат.*) – крылатое латинское выражение, много раз обыгрывавшееся в европейской культуре. Часто трактуется как обращение Смерти к людям: даже в Аркадии я есть. Другая интерпретация этого выражения – обращение умершего к живущим («И я был в Аркадии»), напоминание о бренности жизни и преходящности человеческого счастья.

леу никогда не говорили о музыке, только обсуждали репертуар других скрипачей, таких как Венявский, Нардини, Виотти, Эрнст, Сарасате, Паганини и, главное, Манлеу, Манлеу, Манлеу. Так что временами меня охватывало нестерпимое желание спросить: маэстро, а когда мы займемся настоящей музыкой? Но я знал, что этим лишь вызову бурю, из которой выйду сильно потрепанным. Поэтому мы обсуждали только репертуар, его репертуар. Положение руки и пальцев. Постановку ног. Какая одежда удобнее во время репетиций. И какое положение ног выбрать: Сарасате – Соре? Венявского – Вильгельми? Изай – Иоахима? Или – для избранных – Паганини – Манлеу? Ты должен попробовать позицию Паганини – Манлеу, потому что я хочу, чтобы ты был избранным, хотя, к несчастью, ты не стал вундеркиндом, поскольку я слишком поздно появился в твоей жизни.

Возобновление уроков музыки после бегства Адриа шло очень тяжело, потому что сеньора Ардевол существенно укрепила свои позиции, а вот гонорар маэстро Манлеу значительно снизился. С самого начала это были уроки, где гений демонстрировал, как он оскорблен в своих лучших чувствах мальчишкой, который по слабости своего характера не знает, чего хочет, и из которого пытаются сделать полутени. Постепенно рутина обучения взяла свое и уроки вошли в обычное русло – вплоть до того дня, когда маэстро велел: принеси свою Сториони.

– Зачем, маэстро?

– Хочу послушать, как она звучит.

– Мне нужно получить разрешение от мамы. – После стольких неприятностей Адриа научился осмотрительности.

– Уверен, ты его получишь, когда скажешь, что это моя просьба.

Мама сказала ему: да ты с ума сошел? что ты себе вообразил? у тебя есть Паррамон, и довольно. Адриа какое-то время продолжал настаивать, но она отрезала: если я сказала «нет», это значит – «нет». Тогда, прежде чем выйти, он выдал, что это личная просьба и желание маэстро Манлеу.

– Вот с этого и следовало начинать разговор, – сказала она серьезно. Очень серьезно, потому что мать и сын уже несколько лет находились в состоянии войны. Все было нормально, пока однажды Адриа не сказал: когда я вырасту, уйду из дома. Она: на что ты рассчитываешь? Он: на свои руки, на наследство отца, не знаю. Она: потрудись узнать, прежде чем уходить.

В следующую пятницу я пришел на урок со Сториони. Гораздо больше, чем послушать, как она звучит, маэстро хотел сравнить. Он сыграл тарантеллу Венявского на Сториони – она звучала просто прекрасно. А потом, блестя глазами и проверяя мою реакцию, продемонстрировал мне Гварнери 1702 года, некогда принадлежавшую самому Феликсу Мендельсону. И сыграл на ней ту же самую тарантеллу. Это тоже звучало просто прекрасно. Тут он с триумфальным выражением лица сообщил, что его Гварнери звучит в десять

раз лучше, чем моя Сториони. И вернул мне ее, не скрывая удовлетворения.

– Маэстро, я не хочу быть скрипачом.

– Замолчи и играй.

– Маэстро, но я не хочу.

– А что скажут твои соперники?

– У меня нет соперников!

– Мальчик мой, – ответил он, усаживаясь в кресло, – все, кто сейчас изучает скрипку на продвинутом уровне, – суть твои соперники. И они ищут способ победить тебя.

И я вернулся к вибрато – вибрато с трелью – в поисках гармонии, к мартеле и тремоло. И с каждым днем все грустнел и грустнел.

– Мама, я не хочу быть скрипачом.

– Но ты уже скрипач!

– Я хочу прекратить занятия.

В качестве ответа мне организовали выступление в Париже. Чтобы ты увидел, какая блестящая музыкальная карьера ожидает тебя, сын.

– Мое первое выступление, – пустился в воспоминания маэстро Манлеу, – состоялось, когда мне было восемь лет. А ты дождался этого лишь к семнадцати. Ты никогда меня не догонишь. Но у тебя есть шанс приблизиться к моей славе. Я помогу тебе преодолеть страх сцены.

– Я просто не хочу быть скрипачом. Я хочу читать. А сце-

ны я не боюсь.

– Бернат, я не хочу быть скрипачом.

– Хватит об этом, надоело уже. Ты отлично играешь, и тебе это ничего не стоит. Ты просто боишься сцены.

– Да, я хорошо играю. Но я не хочу быть скрипачом. Не хочу этим заниматься. И нет у меня никакого страха сцены.

– Делай что делаешь, только не бросай занятий.

Не то чтобы Бернату было наплевать на мое психическое здоровье или мое будущее. Но Бернат как бы тоже занимался у Манлеу – через меня. И успешно совершенствовал свою технику, не испытывая при этом тошноты ни от занятий, ни от инструмента. Ему не скручивало от боли желудка, потому что благодаря мне он был избавлен от самого Манлеу. А теперь Трульолс дала ему рекомендации к самому Массия¹⁴⁰.

Много лет спустя Адриа Ардевол понял, что его отвращение к карьере музыканта-виртуоза было единственно доступным способом сопротивления матери и маэстро Манлеу. И когда ему стало уже совсем невмоготу, он сказал маэстро Манлеу: я хочу заниматься музыкой.

– Что?

– Хочу играть Брамса, Бартока, Шумана. Ненавижу Сарате.

Маэстро Манлеу несколько недель молчал, давая во вре-

¹⁴⁰ Жуан Массиа-и-Пратс (1890–1969) – известный каталонский скрипач, композитор и педагог.

мя уроков указания исключительно жестами, а потом, в какую-то пятницу, положил на пианино пачку партитур толщиной с две ладони и сказал: давай выберем репертуар. Это был единственный раз в жизни, когда маэстро Манлеу признал его правоту. Один раз это сделал отец, а теперь вот маэстро Манлеу. Давай выберем репертуар. И словно мстя за то, что был вынужден признать мою правоту, он стряхнул чешуйку перхоти со своих темных брюк и предложил: двадцатого числа следующего месяца – в зале Дебюсси в Париже. «Крейцера соната», Сезар Франк, Третья симфония Брамса и что-нибудь из Венявского и Паганини на бис. Доволен?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.